

18+

ГЕРМАН МЕЛВИЛЛ

ПЬЕР

Герман Мелвилл

ПЬЕР

«Издательские решения»

Мелвилл Г.

ПЬЕР / Г. Мелвилл — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-511437-2

Новая Англия. Первая половина 19-го века. Молодой, богатый, красивый и успешный американский аристократ готовится к свадьбе. За несколько дней до этого события он получает письмо от таинственной незнакомки, которое делает его заложником понятий о чести и достоинстве, заставляя серьёзно пересмотреть свои планы. Многие события взяты из жизни самого автора, неудовлетворённого как материальной, так и личной стороной своей жизни.

ISBN 978-5-00-511437-2

© Мелвилл Г.
© Издательские решения

Содержание

Книга I	7
Книга II	20
Книга III	36
Книга IV	53
Книга V	67
Конец ознакомительного фрагмента.	68

ПЬЕР

Герман Мелвилл

Роман Михайлович Каменский *Переводчик*

© Герман Мелвилл, 2020

© Роман Михайлович Каменский, перевод, 2020

ISBN 978-5-0051-1437-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

P I E R R E ;

OR,

T H E A M B I G U I T I E S .

BY

HERMAN MELVILLE.

NEW YORK :
HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS
329 & 331 PEARL STREET,
FRANKLIN SQUARE.
1852.

К 200-летию Германа Мелвилла

Книга I

Пьер

В подростковом возрасте

I

Бывает так, что неким необычным летним утром в деревне приезжий горожанин, идущий по дороге, оказывается сраженным удивительным, подобным сну, зеленым и золотым пейзажем. Ни один цветок не шевелится, деревья забывают махать ветками, трава сама собой, кажется, прекращает расти, и вся Природа будто внезапно узнает о своей собственной глубокой тайне и, ощущая потребность скрыться от неё, не иначе как в тишине, погружается в этот замечательный и неопиcуемый покой.

Таким же было июньское утро, когда, выйдя из дверей старого островерхого отеческого дома, Пьер, умытый и выспавшийся, весело пошел по длинной, широкой пригородной улице, обрамленной арками из вязов, и с её середины подсознательно направил свои шаги к дому, который выглядывал почти в самом конце аллеи.

Повсюду простиралось зеленое сонное царство, не потревоженное ничем, кроме пестрых коров, мечтательно бредущих к своим пастбищам, даже не погоняемых румяными мальчишками с белыми ногами.

Тронутый и околдованный очарованием этой тишины, Пьер приблизился к дому и, резко застыв, поднял свой взгляд, устремив его на одну из открытых верхних оконных створок. Почему сейчас он так возбудился, юный молодец? Почему загорелись его щеки и глаза? На подоконнике покоилась белоснежная глянцева́я подушка, и роскошный темно-красный цветок с вьющегося куста мягко улегся на неё.

Хорошо, что тебе, ароматному цветку, дозволено было найти эту подушку, подумал Пьер, ведь час назад её собственная щека, должно быть, покоилась там.

«Люси!»

«Пьер!»

Поскольку сердце отзывается на звон сердца, то в яркой утренней тишине оба они несколько мгновений стояли тихо, пылко слушая друг друга, взаимно наполненные безраздельным восхищением и любовью.

«Всего лишь „Пьер“?», – рассмеялся, наконец, юноша, – «ты забыла пожелать мне доброго утра»

«Этого было бы маловато. Доброго утра, добрых вечеров, добрых дней, недель, месяцев и лет тебе, Пьер; – умный Пьер! – Пьер!»

Действительно, подумал юноша, глядя тихо и пристально с невыразимой нежностью; воистину, небеса открылись, и этот ангел призывно смотрит вниз. – «Я верну тебе твое множество разных хороших дней, Люси, не зависимо от того, каковы будут пережитые ночи; и, слава Небесам, но ты принадлежишь местам, где день бесконечен!»

«Фу, ну вот, Пьер; почему-то вы, молодые люди, всегда клянетесь, когда влюблены!»

«Потому, что в нас живет любовь земная, а с вами она достигает смертельных небес!»

«Тут ты снова воспарил, Пьер, ты всегда очень искусен в стремлении обмануть меня. Скажи мне, почему вы, молодые люди, всегда демонстрируете столь милое мастерство по превращению всех наших пустячных достоинств в ваши трофеи?»

«Я не знаю, так ли это, но когда-то это было в вашей манере». И, задев оконную створку, он сорвал с куста цветок и демонстративно закрепил его на своей груди. – «Теперь я должен идти; Люси, смотри! с этим цветком я и промарширую»

«Брависсимо! о, мой единственный рекрут!»

II

Пьер был единственным сыном богатой и надменной вдовы, леди, которая внешне представляла уникальный образец консерватизма и склонности к украшательству, здоровья и богатства, соединенного с тонким умом средней культуры, не испорченного каким-либо безутешным горем, и никогда не отягощенным низменными заботами. В зрелом возрасте румянец все еще чудесным образом играл на её щеках, но ещё не совсем расплелась ее гибкая талия, морщины не избородили гладкость ее чела, алмазный блеск не покинули ее глаз. Поэтому в свете огней танцевального зала г-жа Глендиннинг все еще затмевала гораздо более молодых кокеток, и избирательно ободряла их, сопровождаемая шлейфом страстно увлеченных волокит, ненамного старших по возрасту её собственного сына Пьера.

Но почтительный и преданный сын оказался для этой вдовы самым любимым Цветком, и помимо всего этого Пьер, будучи неузнанным, раздражался от ревности, движимый слишком горячим восхищением красивых молодых людей, которые время от времени, случайно попав в ловушку, казалось, лелеяли некие безумные надежды на женитьбу на этом недостижимом существе; Пьер несколько раз с наигранной злобой открыто клялся, что кавалер – седобородый или безбородый – который осмелится предложить брак его матери, должен будет неким неведомым путем безоговорочно исчезнуть с поверхности земли.

Эта романтическая сыновняя любовь Пьера, казалось, полностью находила ответ в триумфальной материнской гордости вдовы, которая в ясных чертах и благородном характере сына видела свою собственную грацию, определенным образом спроецированную на противоположный пол. Между ними имелось разительное личное сходство, и поскольку мать, казалось, надолго застыла в своей красоте, не учитывающей пролетающие годы, то Пьер, казалось, обзавелся этой красотой середины жизненного пути в великолепном раннем развитии форм и черт, почти продвинувшись к той зрелой точке Времени, где на пьедестале так долго стояла его мать. В игривости их безоблачной любви и с этой странной привилегией, обеспечивавшей чистейшее доверие и взаимопонимание во всех взаимоотношениях, что так долго развивалась между ними, они имели привычку называть друг друга братом и сестрой. И на публике, и вне её они так и поступали, но когда оказывались среди незнакомцев, эти обращения иногда провоцировали забавные предположения, в первую очередь, в адрес неувядающей г-жи Глендиннинг, всецело переносящей эти юношеские притязания. – Так свободно и светло для матери и сына текла чистым течением их совместная жизнь. Но пока еще чистая река несла свои волны, отражаясь от береговых скал, где впредь ей было предназначено стать навсегда разделённой на два несмешиваемых потока.

Один прекрасный английский автор тех времен, перечисляя начальные свойства предписанной ему по рождению судьбы, сообщает в первую очередь о том, что он появился на свет в деревне. Так же обстояло и с Пьером. Это была его судьба, родиться и быть взлелеянным в стране, окруженной пейзажем, чье необычное очарование было чистейшей формой тонкого и поэтического ума, в то время как популярные названия его самой прекрасной родословной относились к самым величавым патриотическим и фамильным ассоциациям исторической линии Глендиннингов. На лугах, которые уходили вдаль от затененной задней части помещного особняка, дальше к извилистой реке, в более ранние дни колонии происходило сражение с индейцами, и в том сражении прадед Пьера по отцовской линии, смертельно раненный и потерявший лошадь, сидел в траве на своем седле, все еще подбадривая умирающим голосом своих сражающихся однополчан. Так и появились Оседланные луга, название от которых перешло на особняк и деревню. Вдали от этих равнин, на расстоянии пешеходного перехода для

Пьера высились легендарные высоты, где в войне за независимость его дед в течение несколько месяцев защищал простой, но важный укрепленный форт от повторных нападений совместных войск индейцев, тори и английских солдат. Перед этим из форта бежал наполовину джентльмен и наполовину разбойник Брандт, но выжил и отобедал с генералом Глендиннингом в мирное время, которое последовало за этой мстительной войной. Все ассоциации с Оседланными Лугами преисполняли Пьера гордостью. Дело Глендиннингов, на котором так долго держалось их благосостояние, пробило себе путь при помощи секрета трех Индийских королей: местными и только законными операциями с этими благородными лесами и равнинами. Поэтому многозначительным в эпоху описанной его юности становился взгляд Пьера, когда он смотрел на основу благосостояния своего рода, обращая мало внимания на свою зрелость, а больше – на внутреннее развитие, которое должно было навсегда лишить его великой гордости в душе за все эти богатства.¹

Но воспитание Пьера оказалось бы неразумно ущербным, если б его молодость непрерывно проходила только на деревенских просторах. В очень раннем возрасте он начал сопровождать своих отца и мать – впоследствии одну только мать – в их ежегодных визитах в город, где, вполне естественно смешиваясь с многочисленным и изысканным обществом, Пьер незаметно формировался в более воздушных грациях жизни без ослабления энергии, происходящей из военной составляющей и взлелеянной в чистом деревенском воздухе.

Но пока столь свободно развивались его личность и манеры, Пьер познавал высшее совершенство и в культуре прекрасного. Не напрасно потратил он свои долгие летние дни в глубоких нишах приличной по размеру и привередливо собранной библиотеки своего отца, куда во множество лабиринтов изумляющей всех красоты нимфы Спенсера завели его еще в раннем возрасте. Таким образом, благородный жар его конечностей и мягкий, воображаемый огонь в его сердце продвигали Пьера к зрелости, эгоистичному периоду беспощадной пронизательности, когда все это нежное тепло должно было казаться ему холодным, и он был бы должен безрассудно потребовать более горячего огня.

Но гордость и любовь, которые в изобилии повлияли на юношеское воспитание Пьера, пренебрегли его культурой в самой глубине всего сущего. Такой же принцип был у отца Пьера, – что все благородство это тщета, все его требования нелепы и абсурдны, если изначальная мягкость и золотые человеческие качества религии могут быть основательно испорчены, переплетаясь со структурой характера, и тот, кто объявляет себя джентльменом, может также полноправно принимать кроткий, но царственный образ христианина. В возрасте шестнадцати лет Пьер со своей матерью принял участие в Святом Причастии.

Возможно, что излишне и еще более тяжело точно отследить абсолютные побуждения, которые были порождены этими юношескими клятвами. Достаточно сказать, что Пьер унаследовал и другие многочисленные благородные качества своих предков и, поскольку он нес теперь звание наследника их лесов и ферм и на основе того же самого неощутимого движения, казалось, унаследовал их смиренное уважение к почтенной Фейт (Судьбе), которую первый из Глендиннингов перевез через море, похитив из-под тени английского министра. Таким образом, в Пьере находилась настоящая полированная сталь джентльмена, подпоясанного Шелковым поясом религиозности, и воинская судьба его прадеда преподнесла ему урок, гласящий, что этот крепкий пояс должен в последнем горьком испытании предоставить его владельцу саван Славы так, чтобы тот, кто всю жизнь носил пояс ради Благодати, в смертельный час смог бы быть им убережен. Но одновременно, как и все живые люди, осознающие красоту и поэзию веры его отца, Пьер совсем не догадывался, что у этого мира есть тайна, более глубокая, чем красота, и в Жизни есть такие трудности, которые тяжелее смерти.

¹ Имеется в виду, что прадед Пьера «оседлал» луга (прим. пер.)

К настоящему времени настолько прекрасной казалась Пьеру светлая летопись его жизни, что только один пробел не был заполнен в этом слащаво написанном манускрипте. В тексте не хватало сестры. Он горевал, что настолько восхитительное чувство, как братская любовь, не было ему доступно. Не могло фиктивное обращение, которое он так часто расточал на свою мать, как ни крути, наполнить действительность. Эта эмоция была самой естественной, и полную причину и ее первооснову даже Пьер в это время не мог полностью оценить. Поскольку, само собой, нежная сестра – едва ли не лучший подарок мужчине, и она оказывается первым жизненным подарком, поскольку жена появляется после. Тот, кто лишен сестер, тот словно холостяк в своей перспективе. Восхищение женой уже таится в сестре.

«О, лучше бы у моего отца была дочь!» – восклицал Пьер. – «Кто-то, кого я мог бы любить и защищать, и драться за неё, если нужно. Это же великолепно, участвовать в смертельной схватке за имя милой сестры! Теперь за все, что у меня есть, я попросил бы у небес себе сестру!»

Таким образом, прежде чем оказаться в более нежных узах с возлюбленной, Пьер часто призывая небеса подарить ему сестру; но Пьер тогда еще не знал, что если человек заранее о чем-то будет хорошо молить, то потом получит ответ, удовлетворяющий самые искренние молитвы его юности.

Возможно, случилось так, что эта странная тоска Пьера из-за сестры частично происходила из-за еще более необычайного чувства одиночества, которое он иногда испытывал, не только как одинокий глава своей семьи, но и единственный мужчина – живой прямой представитель рода Глендиннингов. Сильная и многочисленная фамилия постепенно перетекла в женские ветви, так что Пьер оказывался окруженным многочисленными родственниками и родственницами, но все же не компанией, состоящей хотя бы из одного живого мужского представителя рода Глендиннингов, за исключением двойника, отражавшегося ему в зеркале. Но, по большей части, в обычном естественном настроении эта мысль совершенно не доставляла ему печали. Нет, иногда она становилась ликующе волнительной. Поскольку в румянце, возбуждении и тщеславии его юной души, он нежно надеялся иметь монополию на славу капители колонны, поставленной его благородными родителями.

Обо всем этом наш Пьер не был предупрежден из-за того, что усвоил уроки о предзнаменованиях и о пророчествах об успехах Пальмиры лучше, чем про её руины. Среди этих руин стояла разрушенная, незаконченная колонна, одна на несколько лиг вокруг, давным-давно оставленная в карьере, с соответствующей ей капителью, столь же одинокой. Это Время захватило её и обтрепало, это Время было сосредоточилось в яйце, и гордую горную вершину, которая должна была парить среди облаков, Время оставило похороненной в земле. О, это самое злостное право собственности, когда Время овладевает сыновьями человеческими!

III

Как уже говорилось, красивый сельский пейзаж, окружавший Пьера, напоминал о славных событиях. Путем простых возможностей эта прекрасный край облагородился трудами его прародителей, и из-за долгого и непрерывного владения его родом все его холмы и трясины в глазах Пьера казались ему священными.

Этот изначальный идеализм, который, при любящем взгляде был освящен, как минимум, пустяками, хоть раз бывает знаком человеку, потерявшему любовь, и для Пьера весь земной пейзаж вокруг него касался талисманом: из-за воспоминаний, что с этих холмов пристально глядели его собственные прекрасные отцы, что через эти леса, вот по этим полянам, вдоль этих ручьев, вдоль этих запутанных тропинок, будучи девочками, весело прогуливалось множество великих дам; из-за ярких воспоминаний Пьер считал всю эту часть земли символом любви, а сам горизонт был для него кольцом на память.

Монархический мир обычно любит воображать, что в демагогической Америке у священного Прошлого нет твердо стоящих статуй, а всё без почтения кипит и варится в вульгар-

ном котле, никак не кристаллизуясь. Это самомнение, как оказывается, вряд ли применимо к социальным обстоятельствам. Разве без раздачи дипломов аристократии не может существовать какой-либо закон, согласно которому любая семья в Америке способна увековечить собственное величие? Конечно, существует общепринятое мнение, которое гласит, что семья, заметная на протяжении одной половины столетия, должна будет узреть свою важность; этот принцип, несомненно, распространяется и на третье сословие. В наших городах случается взрывное возвышение семей, подобное появлению пузырей в чане. В действительности элемент демократии воздействует на нас в качестве кислотной подпитки; новое производство всегда разъедает созданное прежде, подобно тому, как на юге Франции ацетат меди, примитивный материал для одного из видов зеленой краски, производится из виноградного уксуса, вылитого на медные пластины. Сейчас в целом ничего не может быть более значительным для распада, чем идея коррозии; однако, с другой стороны, ничто не может более ярко представить богатство жизни, нежели идея зеленого цвета, поскольку зеленый – всеобщая своеобразная отличительная метка плодородия самой Природы. Здесь, следуя аналогии, мы созерцаем заметную аномалию Америки, чей дух за рубежом – не стоит удивляться – понимается неверно, когда мы видим, что он по-особому противоречит всем предшествующим человеческим понятиям о природе вещей; и в нем замечательно то, что сама Смерть преобразовывается в Жизнь. Поэтому политические институты, которые в других землях кажутся, прежде всего, весьма искусственными, в Америке кажутся обладающими божественным достоинством естественного права; самый главный из законов Природы состоит в том, что из Мертвого она создает Живое.

Однако есть что-то в видимом мире, на что постоянно меняющаяся Природа не имеет такого неограниченного влияния. Трава ежегодно меняется, но ветви дуба в течение долгого количества лет бросают вызов этому ежегодному правилу. И если в Америке огромные массы семейств подобны травинкам, то всё же есть немногие – те, что стоят как дубы, которые вместо распада ежегодно выбрасывают новые ветви, вследствие чего Время вместо своего противостояния вынуждено сдаваться при своем многократном преимуществе.

В этом вопросе мы будем – не с чувством превосходства, но взвешенно, – сравнивать родословные с английскими и, как это не непривычно на первый взгляд, без некоторого требования равенства. Осмелюсь сказать, это в этом случае «Книга званий пэров» – хороший статистический стандарт, соответствующий суждению о ней; с тех пор составители этой работы не могут быть совершенно отстраненными от тех, на чей патронаж они больше всего полагаются; и общего понимания нашего собственного народа будет достаточно, чтобы судить о нас. Но великолепие имен не должно вводить нас в заблуждение относительно их скромности. Поскольку дыхание всех наших легких наследственно, и мое дыхание в данный момент происходит и будет дальше продолжаться, в отличие от тела нынешнего иудейского Первосвященника, насколько до конца можно будет проследить за ним, – то поэтому простые имена, которые также не эфемерны, сообразно этому наслаждаются этим бесконечным обновлением. Но если Ричмонд и Сент-Олбэнс, и Графтон, и Портленд, и Баклед, это имена почти столь же старые, как сама Англия, то нынешние Герцоги к тем именам относят свои собственные подлинные родословные до Карла II и не находят там совсем чистого источника, начиная с которого мы бы увидели менее славное происхождение под солнцем, как например, точное происхождение Бакледа, чья прародительница не смогла избежать материнства – что является истиной – но случайно пренебрегла предварительным обрядом. Все же король был родителем. Только это еще хуже: ведь если нищий наносит маленькое оскорбление, то получить удар от джентльмена смертельно оскорбительно, и, следовательно, все подзаконные удары королей оказываются весьма нелестными. В Англии звание пэра поддерживается его непрерывными восстановлениями и присвоениями. Только Георг III присвоил титул пэра пятистам двадцати двум человекам. Графство, временно бездействуя в течение пяти веков, внезапно принима-

ется неким простым человеком, к которому оно не перешло никак иначе, чем путем искусства адвокатов, повернувших дело в нужном направлении. Темза не так извилиста в своем естественном течении, и не столь искусно русло Канала Бриджуотер, как ток крови в извилинах вен этой искусственной знати. Непрочные как солома и эфемерные как грибы, эти титулованные семьи в должной последовательности живут и умирают на вечной почве имени. В Англии на сей день две тысячи пятьсот званий пэра лишились первоначальных хозяев, но их имена живы. Поэтому, чтобы пустой воздух имени был более прочен, чем человек или человеческая династия, дух наполняет легкие человека и оживляет его, но сам человек не может наполнить и оживить им воздух.

Теперь я отдаю честь и все свое почтение людям и их именам, но если Сент-Олбанс говорит мне, что он всегда был благороден и всегда вечен, то я должен все же вежливо отослать его к Нелл Гвинн.²

До Карла II, действительно, очень немногие – едва достойные упоминания – представляют английские семьи, которые могут отследить прямую неискаженную родословную от нормандских рыцарей. После Карла II их прямые генеалогии кажутся тщетными, подобно тому, как некий еврейский старьевщик с чайницей на голове перевернул бы первую главу Евангелия от Матвея, чтобы установить причастность к крови царя Саула своего предка, умершего задолго до начала царской карьеры.

Теперь, не распространяясь заранее о том, что, в то время как в Англии огромная масса государственной каменной кладки пускается в ход в качестве опоры для поддержки наследственного существования определенных домов, скажем, что с нами невозможно допустить ничего подобного и, опустив всякое упоминание о сотнях незаметных семей в Новой Англии, которые, тем не менее, могли бы легко проследить свое неразрывное английское происхождение до правления Карла Первого, нельзя не сказать о старых и восточных английских семьях плантаторов Вирджинии и Юга: например, о Рэндольфах, один из предков которых более чем двести лет назад во времена короля Якова был женат на индейской княжне Покахонтас и из-за чей крови лишился исконных королевских привилегий; посмотрите на те же древние и величественные голландские Поместья на Севере, чьи шесты – в мили длиной, чьи луга покрывают смежные страны и чья высокая рента держится на тысячах фермеров-арендаторов, пока трава растет и пробегают воды, намекая на удивительную вечность дел, и, кажется, делает адвокатские чернила неисчерпаемыми, как море. Возраст некоторых из этих поместий составляет два столетия, и их нынешние покровители или лорды покажут вам стойки и камни своих поместий, уложенные там – камни, по крайней мере, – до рождения Герцогини-матери Нелл Гвинн, и генеалогии которых, как и их собственная река Гудзон, проистекает совсем издалека и более прямо, чем Змеиный ручеек в Гайд-парке.

Эти уходящие вдаль голландские луга лежат, погружившись в гиндукушский туман; восточная патриархальность дрожит своей плавной дугой над пастбищами, где должен кормиться скот арендаторов, пока не вырастет их собственная трава, пока не убегут их собственные воды. Такие состояния, кажется, бросают вызов зубу Времени, и обстоятельства, при которых берут власть над неразрушимой землей, кажется, согласовывают наследственные права с вечностью. Невообразима смелость червя, не проползшего сквозь почву, которую он столь высокомерно требует!

В округе Мидленд в Англии они хвастают старыми дубовыми столовыми, где во времена господства Плантагенетов в дождливый день могли упражняться триста воинов. Но наши Господа не обращаются к прошлому, а указывают на настоящее. Каждый покажет вам, что население графства – всего лишь часть списка его арендаторов. Горные цепи, высокие как Бен-Невис или Сноудон, это их стены; и регулярная армия, с офицерскими денщиками и с артиллерией

² Нелл Гвинн – английская актриса, любовница и фаворитка короля Англии Карла II (прим. пер.)

пересекая реки, проходя через первобытные леса и пробираясь по теснинам между огромных скал, накладывает арест на имущество трех тысяч фермеров-арендаторов одного владельца, если судить по записям. Факт, более чем наводящий на обоюдные размышления, и об обоих здесь говорить не стоит.

Но независимо от того, что можно думать о существовании их могущественных светлостей в сердце республики, мы можем задаться вопросом об их выживании, подобно Индейским насыпям в Революционном потоке; все же они выжили и существуют, и теперь принадлежат своим нынешним владельцам, как какой-нибудь крестьянин с добрым именем владеет старой шляпой своего отца, а какой-нибудь герцог – старой диадемой своего двоюродного деда.

Учитывая все это, мы теперь не сильно ошибемся, если кратко осмыслим, что, приняв решение прославить себя саму на незначительном отрезке времени, наша Америка разберется с Англией в этом основном различии в небольшом коротком вопросе о больших состояниях и длинных родословных – родословных, как я подозреваю, в которых нет недостатков.

IV

В общих чертах мы все-таки разобрались в утверждении великой генеалогии и в отношении к недвижимости величию некоторых семей в Америке, поскольку при этом мы поэтично обосновали наполненное аристократизмом положение Господина Пьера Глендиннинга, для которого мы прежде потребовали некоего особого фамильного отличия. И наблюдательному читателю продолжение покажет, насколько важны эти обстоятельства, которые отсылают нас к рассмотрению особого развития характера и исключительного своеобразия жизненного пути нашего героя. И при этом ни один человек не помыслит о том, что последняя глава будет отдана просто глупой бравате, а не твердой цели.

Теперь Пьер стоит на этом благородном пьедестале; мы увидим, удержит ли его это прекрасная опора, мы увидим, заключена ли частица Судьбы в этом маленьком слове или в паре слов. Но это не значит, что Глендиннинги жили до Фараонов, или что события в Оседланных Лугах имеют отношение к Трем Волхвам в Евангелиях. Тем не менее, эти дела, как мы прежде намекнули, действительно относятся ко времени трех королей – индийских королей – только к более прекрасным периодам.

Но если Пьер не относился ко времени Фараонов, и если английский фермер Хэмпденс был несколько старше даже самого старого Глендиннинга, и если некоторые американские поместья не превышали его поместья на несколько дополнительных лет и квадратных миль, все же не стоит думать, что юноше девятнадцати лет вообще возможно – просто ради пробы – усыпать свою наследственную кухонную каменную плиту под очагом сжатými пшеничными колосьями и, встав там в дымоходе, начать молотить это зерно цепом, чьи воздушные эволюции превратились бы в свободную игру среди всей этой каменной кладки; возможно ли молотить цепом пшеницу в своем собственном наследственном кухонном дымоходе, не почувствовав хотя бы один или два приступа боли, которую можно назвать семейной гордостью? Я должен сказать, что нет.

И как вы считаете, что было бы с этим юным Пьером, если бы каждый день, спускаясь к завтраку, он не видел старое изодранное британское знамя или два, нависающие над арочным окном в его зале, которые были захвачены его дедом, генералом, в битве за справедливость? И как вы считаете, что было бы, если бы каждый раз, слыша музыку военной компании в деревне, он отчетливо не опознавал особый сигнал британской литавры, также захваченной его дедом в честной битве – о чем гласила надпись на меди – и ставшей наградой Артиллерийскому Корпусу Оседланных Лугов? И как вы считаете, что было бы, если когда-нибудь тихим задумчивым утром Четвертого июля в деревне, он вышел бы в сад, опираясь на церемониальный посох, длинный, величественный, посох с серебряным наконечником, жезл генерал-майора, когда-то послушный кивающему перу и указывающий цель мушкету того же самого деда несколько раз выше упомянутого? Я должен сказать, что описываю Пьера пока еще довольно

молодым и совсем не философом, и, кроме того, довольно благородного происхождения, иногда читавшего Историю Революционной Войны и имевшего мать, которая очень часто делала туманные дружеские намеки на эполеты генерал-майора его дедушки; – я должен сказать, что во всех этих случаях, история, с которой он жил бок о бок, была наполнена гордостью и ликованием. И если в Пьере окажется не только любовь и безрассудство, и если вы скажете мне, что эти черты его характера не открывали в нем подлинного демократа, и что действительно благородный человек никогда не должен хвастать какой-либо силой, кроме как своей собственной, то тогда я прошу вас снова обратить внимание на то, что этот Пьер был пока всего лишь мальчиком. И поверьте мне – вы объявите Пьера радикальным демократом в свое время, возможно даже, что немного более радикальным, чем вы можете вообразить.

В заключение не обвиняйте меня, если здесь я повторяюсь и сошлусь на свои собственные слова и высказывания о том, что судьбоносным уделом Пьера было родиться и вырасти деревне. Ведь для благородного американского юноши действительно – больше, чем в любой другой стране – это очень редкий и избранный жребий. Замечено, что в сравнении с другими странами предмет главной и прекрасной семейной гордости это дом, и это более заметно среди нас, гордо ссылающихся на город, как на место его расположения. Вот также часто американец, который сам наживает состояние, строит свой великий столичный дом на самой столичной улице большинства столичных городов. Примем во внимание, что европеец того же самого уровня с этой целью мигрирует в деревню. То, что там европейцу лучше, этого ни один поэт, ни один философ и ни один аристократ не будет отрицать. Ведь сельская местность почитается им не только как самая поэтичная и философская, но и как самая аристократическая часть земли, и многочисленные барды облагораживают её множеством прекрасных эпитетов. Примем во внимание, что город это более плебейская часть страны, которая, помимо многих других вещей, демонстрирует постоянно грязное немывтое лицо, тогда как деревня, словно Королева, постоянно посещается щепетильными камеристками под личинами времен года, а у города есть только одно платье из кирпича, водруженного на камень; но у деревни есть нарядное платье в течение всех недель в году; иногда она меняет свое платье двадцать четыре раза за двадцать четыре часа; и еще деревня носит свое солнце днем как алмаз на челе Королевы, и звезды ночью смотрятся как золотые ожерелья, тогда как солнце города – дымное месиво и совсем не алмаз, и городские звезды – поддельные и не золотые.

Сама Природа растила в деревне нашего Пьера, потому что Природа предназначила Пьеру редкое и особое развитие. Не берите в голову, доказала ли она таким образом двусмысленность его конца; тем не менее, в начале она поступила смело. Она унесла свой горн от синих холмов, и Пьер припадал от лирических мыслей, подобно тому, как при вое трубы боевой конь сам бьет копытами в лирической пене. Она шептала в сочельник из своих густых рощ, и нежные шепоты человечности, и сладкие шепоты любви бежали по венам Пьера, журча как вода, переливающаяся через гальку. Она сняла свой украшенный блестками гребень, тускло светившийся ночью, и направила в душу Пьера в блеске их божественного Капитана и Господа десять тысяч мыслей об истоках героизма, ярко светя вокруг для некоторых обиженных, служа им хорошей защитой.

Таким образом, деревня стала для молодого Пьера великолепным благословением; мы увидим, исходило ли это благословение от него так же, как и божественное благословение от «Послания к Евреям»; мы еще раз увидим, как я уже говорил, сможет ли сказать Судьба в этом мире простое скромное слово или пару слов; мы увидим, насколько крошечные остатки латыни далеки от принципа – «Никто против Бога, кроме самого Бога»

V

«Сестра Мэри», – сказал Пьер, вернувшись со своей прогулки на восходе солнца и постукав в дверь покоев своей матери, – «ты знаешь, сестра Мэри, что деревья, которые простояли

всю ночь, этим утром снова выстроились перед тобой? – Разве ты не чувствуешь что-то вроде запаха кофе, сестра моя?»

Легкими шагами он переместился к двери, которая отворилась, открыв взору госпожу Глендиннинг, одетую в великолепную веселую утреннюю одежду и держащую в своей руке яркую широкую ленту.

«Доброе утро, мадам», – сказал Пьер медленно и с поклоном, чье подлинное и самопроизвольное почтение забавно контрастировало с охотничьей манерой, которая ему предшествовала. Столь сладка и благоговейна была его дружеская привязанность, что она достигала максимальной глубины сыновнего уважения.

«Доброго дня тебе, Пьер, ведь день, как я полагаю, уже наступил. Но входи же, ты должен завершить мой туалет, – здесь, брат» – протягивая ленту – «теперь смело за дело» – и, встав подальше от стекла, она стала ждать помощи от Пьера.

«Первая леди в ожидании вдовы, герцогини Глендиннинг», – рассмеялся Пьер и, поклонившись своей матери, он изящно обвил ленту вокруг ее шеи, просто перевязав концы впереди.

«Ну, что ты держишь её там, Пьер?»

«Я собираюсь прикрепить её при помощи поцелуя, сестра, – сюда! – о, какая жалость, что такое крепление не всегда будет держаться! – где камешка с оленями, что я дал тебе вчера вечером? – Ах! на плите – ты пришла, чтобы потом надеть её? – Спасибо, моя внимательная и благоразумная сестра – сюда! – но постой – вот завиток, прямо непоседа – поэтому теперь, уважаемая сестра, надень вот этот ассирийский обруч на голову»

Когда в высшей степени счастливая мать встала перед зеркалом, чтобы подвергнуть критике украшение, полученное от ее сына, Пьер, заметив ее разбросанные тапочки, встал на колени и схватил их. «И теперь к самовару», – вскричал он, – «мадам!» – и с насмешливой галантностью предложил руку своей матери. Пара спустилась к завтраку.

Госпожа Глендиннинг бессознательно исповедовала один из тех принципов, согласно которому женщины иногда преданы без каких-либо размышлений, – никогда не появляться в присутствии своего сына наполовину одетой, что было абсолютно неподобающе. Ее собственное независимое наблюдение за вещами открыло ей множество очень общих принципов, которые на деле часто становятся безжизненными из-за опосредованного их применения. Она отлично сознавала, насколько огромно было это влияние, при котором даже при самых близких сердечных связях, самое простое появление воздействует на сознание. И поскольку в восхищенном любовании и изящной преданности Пьера состояла теперь ее самая высшая радость в жизни, то она не упускала ни малейшего пустяка, который хоть как-то способствовал сохранению настолько сладких и лестных чувств.

Помимо всего этого, Мэри Глендиннинг была женщиной, и с тщеславием большим, чем обычное женское, – если это можно назвать тщеславием – которое за почти пятьдесят лет жизни ни разу не предавало ее в случае нарушения приличий, или вызвало бы у нее известную только ей острую сердечную боль. Кроме того, она никогда не тосковала по восхищению, потому что вечная привилегия красоты была ее неотъемлемым правом, она всегда обладала ею; она не поворачивала ради него свою голову, так как оно самопроизвольно всегда окружало ее. Тщеславие, которое при большом скоплении женщин приближается к душевному пороку, а потому и к видимому изъяду, в ее особом случае – пусть и в высшей степени – все еще было символом самого крепкого здоровья; не зная, что такое тоска по удовлетворению, она почти совсем не осознавала, что обладает этим чувством целиком. Многие женщины несут этот свет своих жизней, пылающий на их лбах, но Мэри Глендиннинг бессознательно носила его внутри себя. Всеми бесконечными узорами женского очарования она невозмутимо пылала как ваза, которая, будучи освещенная изнутри, не показывает внешний признак освещающего её пламени, но, как кажется, сверкает самыми изысканными достоинствами мрамора. Но то обманчивое материальное восхищение, какое испытывают на балу некоторые женщины, не было

восхищением матери Пьера. Ни всеобщее уважение мужчин, ни избранное уважение самого благородного мужчины не было таким, какое она ощущала по принадлежащему ей праву. И так как её собственные материнские пристрастия были добавлены к славным, редким и абсолютным достоинствам Пьера, то она видела добровольную преданность его нежной души, всеохватную верность вассала феодалу, избранному гильдией его рода. Таким образом, помимо пополняемого через все ее вены самого тонкого тщеславия она уже была удовлетворена уважением одного только Пьера.

Но что касается ощущений и духа женщины, то восхищение даже самым благородным и самым одаренным человеком никак ею не ощущается, пока она остаётся под непосредственным влиянием практической магии на её душу; и потому, несмотря на все интеллектуальное превосходство над своей матерью, Пьер, из-за неизбежной слабости неопытной и незрелой юности был необычно внимателен к материнскому обучению почти всем вещам, к которым у него к настоящему времени имелся интерес или же они его касались; следовательно для Мэри Глендиннинг это почтение Пьера было сполна наделено всем самым гордым восхищением и чарами самодовольства, которые только может чувствовать большинство завоевательных девственниц. Более того. Этот несказанный и бесконечно тонкий аромат невыразимой нежности и внимания, каждый раз становясь всё более изящным и благородным, присутствует одновременно с ухаживанием и предшествует заключительному оглашению имен вступающих в брак и брачной церемонии, но – как букет самых дорогих немецких вин – слишком часто испаряется с потоков любви при питье из кубков разочарований от супружеских дней и ночей; эта самая высокая и самая эфемерная вещь среди всех переживаний нашей смертной жизни; эта небесная эфемерность – еще более эфемерная в сыновней груди – была для Мэри Глендиннинг, теперь не очень далекой от своего великого критического периода, чудесным образом возрождена в учтивом и подобном любви обожании Пьера.

Чисто случайная комбинация самых счастливых и самых редких моментов на земле целиком преобразуется в замечательный, но не ограниченный по продолжительности кульминационный период времени, который столь фатален для обычной любви; этот нежный период, во время которого мать и сын все еще вращались на одной орбите радости, казался проблеском прекрасного шанса на то, что самая божественная из тех эмоций, которые являются прологом к самому сладкому сезону любви, способна на безграничные изменения во множестве незаметных отношений среди нашей разнообразной жизни. Отдельным и самостоятельным путем, она, казалось, здесь и дальше почти реализовала сладкие мечты тех религиозных подвижников, которые рисуют нам приближающийся Рай, когда в эфемерности всех платьев и красок самые святые страсти человека будут объединять все кланы и страны в одном кругу чистого и неослабевающего восхищения.

VI

Существовала, однако, одна небольшая приземленная черта, которая, по мнению некоторых, могла уронить романтические достоинства благородного Пьера Глендиннинга. У него всегда был превосходный аппетит, и особенно за завтраком. Но когда мы полагаем, что, несмотря на то, что руки Пьера были маленькими, и его манжеты белыми, его рука все же ни в коем случае не была изящна, и цвет его лица был близок к коричневому; и что он обычно поднимался вместе с солнцем и не мог уснуть, не проехав верхом свои двадцать, или не пройдя пешком свои двенадцать миль в день, или не порубив больших болиголовов в лесу, или не побоксировав, или не пофехтовав, или не позанимавшись греблей, или не свершив некий другой гимнастический подвиг; когда мы говорим об атлетическом сложении Пьера и мощной мускулатуре и мышцах, составлявших его тело, то стоит упомянуть, что вся эта мускульная сила и мышцы три раза в день громко требовали внимания, и мы очень скоро почувствуем, что в наличии хорошего аппетита нет никакого вульгарного упрека, а есть лишь признак королевского изя-

щества и чести Пьера, характеризующие его как мужчину и джентльмена, поскольку полностью развитый джентльмен всегда крепок и здоров, а крепость и здоровье – великие гурманы.

Таким образом, когда Пьер и его мать спустились к завтраку, и Пьер внимательно посмотрел, все ли там максимально удобно для нее, и дважды или трижды приказал солидному и старому Дейтсу, слуге, опустить и поднять оконные рамы так, чтобы ни один сквозняк не смог свободно овладеть шеей его матери, после чего проследил за всем этим, но очень тихо и незаметно; и после приказа невозмутимому Дейтсу отойти в сторону, в горизонтальном особом свете нарисовалась прекрасная радостная картина в веселом фламандском стиле (в подобном стиле живопись и так висела на стене, как образец для сравнения), а затем с места, где он сидел, после несколько вдохновенных взглядов на заливные луга, уходящие вдаль за голубые горы, Пьер подал таинственный масонский знак сиятельному Дейтсу, который, автоматически повинаясь, угодливо перенес с особого маленького подноса очень пышный холодный мясной пирог, оказавшийся при осторожной пробе ножом пышным пикантным гнездом для нескольких необыкновенно нежных голубей, собственноручно подстреленных Пьером.

«Сестра Мэри», – сказал он, снимая при помощи серебряного трезубца один из множества отборных прекрасных кусочков голубя, – «Сестра Мэри», – сказал он, – «стреляя в этих голубей, я очень старался сбить их таким способом, чтобы оставить грудки неповрежденными. Они были предназначены для тебя! и они здесь. Теперь, старина Дейтс, помоги ближней тарелке своей любимицы. Нет? – ничего кроме крошек от французского рулета и несколько взглядов в кофейную чашку – это что, завтрак дочери вон того смелого Генерала?» – указывая на своего во весь рост обшитого золотым галуном деда на противоположной стене. «Ну, это же несчастье, если я должен буду завтракать за двоих. Дейтс!»

«Сэр».

«Удали эту подставку для гренок, Дейтс, и эту тарелку с языками, и поставь рулет поближе, и откати столик подальше, славный Дейтс»

Таким образом, создав требуемую для себя обстановку, Пьер приступил к завтраку, прерывая наполнение рта множеством веселых шуток.

«Ты, кажется, находишься в потрясающе прекрасном настроении этим утром, братец Пьер», – сказала его мать.

«Да, в очень сносном; по крайней мере, я не могу точно сказать, что я подавлен, сестра Мэри. – Дейтс, мой славный друг, принеси мне три миски молока»

«Одну миску, сэр, – вы имеете в виду», – сказал Дейтс серьезно и невозмутимо.

Как только слуга покинул комнату, мадам Глендиннинг сказала: «Мой уважаемый Пьер, ты часто просил меня никогда не разрешать твоей веселости переходить за грань и перешагивать через четкую линию достоинства в твоём общении со слугами. Давешний взгляд Дейтса был почтительным выговором тебе. Ты не должен говорить Дейтсу „Мой добрый приятель“. Он прекрасный человек, весьма прекрасный человек, воистину, так; но совсем нет надобности сообщать ему об этом за моим столом. Очень легко быть совершенно добрым и приятным для слуг без малейшей тени намека на кратковременную общительность с ними»

«Хорошо, сестра, несомненно, ты в целом права; после этого я буду пропускать слово „добрый“, и не говорить Дейтсу ничего, кроме слова „приятель“, – „Приятель, поди сюда!“ – как ты на это ответишь?»

«Никак, Пьер – но ты не Ромео, ты знаешь, и поэтому для присутствующих я пропускаю твою чепуху»

«Ромео! о, нет. Я далек от того, чтобы быть Ромео», – вздохнул Пьер. «Мне смешно, но он кричал, бедный Ромео! увы Ромео! горе – мне, Ромео! он дошел до скорбного конца, покойный Ромео, сестра Мэри»

«Все же это была его собственная ошибка»

«Бедный Ромео!»

«Он не слушался своих родителей»

«Увы, Ромео!»

«Он женился против их исключительной воли»

«Горе – я, Ромео!»

«Но ты, Пьер, собираешься жениться в ближайшее время, как я уверена, не на Капулетти, но на одном из своих Монтекки, и потому злость Ромео едва ли появится у тебя. Ты будешь счастливым»

«Совсем несчастный Ромео!»

«Не будь настолько смешным, брат Пьер; итак, ты собираешься взять Люси в эту долгую поездку среди холмов этим утром? Она – милая девушка, очень милая девушка»

«Да, это – скорее мое мнение, сестра Мэри. – слава Богу, мама, в пяти округах так не считают! Она – такая – хотя я и говорю так – Дейтс! – он теряет много драгоценного времени, неся это молоко!»

«Позволь ему не торопиться. – Не будь тряпкой, Пьер!»

«Ха! моя сестра немного язвительная этим утром. Я догадался»

«Никогда не носи бреда, Пьер, и никогда не говори напыщенно. Твой отец никогда не делал так, этого нет у Сократа, а ведь оба они были большими мудрецами. Твой отец был глубоко любящим – что я знаю по себе – но я никогда не слышала его напыщенных речей об этом. Он был всегда чрезвычайно благородным: и господа никогда не говорят напыщенно. Бесхарактерность и шумная проповедь маглетонианцев совсем не для господ»³

«Спасибо, сестра. – Сюда, поставь его, Дейтс; действительно ли лошади готовы?»

«Просто ездят по кругу, сэр, честное слово»

«Почему, Пьер», – сказала его мать, выглядывая в окно», – ты едешь в Санта-Фе-де-Богота на этом огромном старом фаэтоне? Почему ты выгащил этого старого Джагернаута?»

«Юмор, сестра, юмор; мне нравится он, потому что он старомоден, и потому что его сидение – это широкая софа, и, наконец, потому, что девушка по имени Люси Тартэн испытывает к нему уважение. Она поклялась, что хотела бы видеть его в качестве своего свадебного экипажа»

«Ну, Пьер, все, что я должна сказать, так это то, что хочется быть уверенной, что Кристофер положит каретный молоток и гвозди, и много шнуров и винтов в коробку. И ты должен позволить ему следовать за тобой в одной из сельскохозяйственных повозок с запасной осью и несколькими досками»

«Ничего страшного, сестра, ничего страшного, – я проявлю должную заботу о старом фаэтоне. Причудливые старые ручки на панели всегда напоминают мне о том, кто ездил на нем первым»

«Я рад, что ты помнишь об этом, братец Пьер».

«И я тот, кто теперь ездит в нем».

«Будь здоров! – Да благословит тебя Господь, мой дорогой сын! – всегда думай о нем и никогда не ошибешься; да, всегда думай о своем дорогом уважаемом отце, Пьер»

«Ну, поцелуй меня теперь, уважаемая сестра, поскольку я должен идти».

«Вот сюда; это – моя щека, а другая – для Люси; хотя теперь, когда я смотрю на них обеих, то полагаю, что ее сторона более цветущая; более сладкие росы выпадают на нее, я уверена»

Пьер рассмеялся и выбежал из комнаты, поскольку старый Кристофер проявлял нетерпение. Мать подошла к окну и встала там.

«Благородный мальчик, и послушный», – пробормотала она, – «у него есть вся юношеская шаловливость и некоторое легкомыслие. И он не вырастет тщеславным в самоуверенном невежестве. Я, слава Богу, не послала его в колледж. Благородный мальчик, и послушный.

³ Маглетонианцы – сторонники протестантского движения в 17 веке (прим. пер.)

Прекрасный, гордый, любящий, послушный, энергичный мальчик. Молю Бога, чтоб он никогда не стал другим. Его будущая молодая жена не отстранит его от меня, поскольку она также послушна, – красива, почтительна и само послушание. Редко бывают такие голубые глаза, как у нее, у тех, кто непослушен, и она не последует за смелым черным цветом, как две кротких овцы в синих лентах следуют за своим воинственным вожаком. Насколько же довольна я, что Пьер любит ее, а не кого-то из надменных темноглазых недотрог, с кем я никогда не смогла бы жить в мире; но кто бы ни поставил ее молодое супружество впереди моего старого вдовства, я требую всеобщего уважения к моему уважаемому мальчику – прекрасному, гордому, любимому, послушному, сильному мальчику! – родовитому, благородному мальчику и такому ласковому! Посмотрите на его волосы! Он действительно, честно говоря, служит иллюстрацией прекрасного высказывания о своем отце: если самые благородные жеребята по трем признакам – пышной гриве, выпуклой груди и кроткому послушанию – должны напоминать прекрасных женщин, то так же обстоит дело с благородной молодежью. Ну, до свидания, Пьер, и веселого утра тебе!»

Сказав эти слова, она пересекла комнату и остановилась в углу – ее довольный гордый взгляд пал на жезл старого генерала, который Пьер, накануне находясь в шаловливом настроении, взял со своего привычного места и перенес в зал с картинами и знаменами. Она сняла его и задумчиво покачала им из стороны в сторону, затем остановилась и перехватила своей рукой. Ее величественная красота имела когда-то некоторую воинственность, и теперь она смотрелась дочерью Генерала, каковой она и была; поэтому Пьер был дважды потомком революционеров. С обеих сторон он происходил от героев.

«Здесь – его наследие – этот символ власти! и меня наполняют мысли о нем. Пусть так, но сейчас мне льстит, что Пьер стал таким послушным! Тут, безусловно, очень странное противоречие! Для такого послушного – генеральский символ? и этот жезл? Но как тогда с женским уделом – послушанием? – Здесь открывается простор для ошибок. Теперь я почти желаю ему иного, нежели быть нежным и послушным мне, видя, что человеку, видимо, трудно быть бескомпромиссным героем и предводителем своего рода и одновременно никогда не заставлять морщиться кого-либо из близких. Молю Бога, чтоб он проявил свой героизм в спокойное и благое время, но не призываю стать героем в момент появления темной отчаянной надежды, как у человека, обреченного на гибель; – некой темной отчаянной надежды обреченного, чья суровость делает человека дикарем. Пошли ему, о Боже, почтительные бури! Укрепи его непоколебимое процветание! Тогда он целиком останется послушным мне и одновременно явит миру великого героя!»

Книга II

Любовь, восхищение и тревога

I

Предыдущим вечером Пьер с Люси составили план дальнего путешествия среди холмов, которые простирались вокруг к югу от широких равнин Оседланных Лугов.

Хотя экипажу уже исполнилось шестьдесят лет, животные, которые тянули его, были шестилетними жеребцами. Старый фаэтон пережил несколько поколений своего содержимого.

Пьер поехал под деревенскими вязами, подпрыгивая на неровной дороге, и вскоре натянул вожжи перед белыми дверями дома. Бросив удила, он вошел в дом.

Оба жеребца были его избранными и верными друзьями, родившимися на одной с ним земле и вскормленными тем же самым зерном, которое, в составе индийских пирогов сам Пьер часто имел привычку есть на завтрак. Один и тот же фонтан одним отводом снабжал конюшни водой, другим – кувшин Пьера. Они были своеобразными фамильными кузенами Пьеру, эти лошади, и они были великолепными молодыми кузенами с очень эффектной внешностью из-за своих пышных грив и мощной поступи, но нисколько не тщеславными и не высокомерными. Они признавали Пьера бесспорным главой дома Глендиннингов. Они хорошо знали, что были всего лишь подчиненной и зависимой ветвью Глендиннингов, в бесконечной феодальной верности связанной с его ведущим представителем. Поэтому эти молодые кузены никогда не позволяли себе убежать от Пьера; они были нетерпеливы в своем беге, но очень терпеливы при остановке. И еще они были преисполнены хорошим настроением и ребяческим видом, словно котят.

«Благослови меня Бог, но как ты можешь позволить им выдержать в полном одиночестве этот путь, Пьер», – вскричала Люси, как только они с Пьером отошли от двери дома, а Пьер поднял платки, пляжный зонтик, сумочку и маленькую корзинку.

«Подожди немного», – крикнул Пьер, опуская свой груз, – «Я покажу тебе, каковы мои жеребцы»

Сказав так, он ласково заговорил с ними, подошел к ним поближе и похлопал их. Жеребцы заржали, почти как жеребята, ржущие немного ревниво, как будто из-за какой-то несправедливости. Затем, согнувшись, с долгим, почти неслышным свистом, Пьер пробрался между жеребцами, среди упряжи. Затем Люси привстала и слабо вскрикнула, но Пьер попросил её сохранять спокойствие, поскольку вокруг не было никакой опасности. И Люси действительно, так или иначе, соблюдала тишину, хотя всегда приподнималась, когда Пьер мог оказаться в малейшей опасности, хотя, в основе своей она скорее лелеяла мысль, что Пьер заколдован и по метафизическим понятиям не может умереть из-за нее или как-то пострадать, когда она находится в тысяче лиг от него.

Пьер, все еще находясь между лошадьми, уже наступил на ось фаэтона, затем нагнулся, исчез на неопределенное время и частично скрылся среди живой колоннады из восьми тонких и блестящих лошадиных ног. Он вошел в колоннаду одним путем и после многих блужданий вышел другим; во время всей этой гужевой работы оба жеребца продолжали весело ржать и добродушно двигать своими головами вверх и вниз, иногда поворачивая их вбок в сторону Люси, словно говоря: «Мы понимаем молодого хозяина, мы понимаем его, мисс; не бойтесь, симпатичная леди: все потому, славное и восхитительное маленькое сердце, что мы играли с Пьером задолго до вашего появления»

«Ты действительно боишься, что они сейчас побегут, Люси?» – спросил Пьер, возвратившись к ней.

«Не очень, Пьер; прекрасные малые! Да, пожалуй, Пьер, они стали твоими офицерами – смотри!» – и она указала на два клок пены, эполетами лежавшими на их плечах. «Брависсимо снова! Я назвала тебя моим рекрутом, когда ты отошел от моего окна этим утром, и вот, пожалуйста, доказательство»

«Очень красивая самонадеянность, Люси. Но посмотри, ты не восхищаешься их костюмами; они носят только самый лучший гемуэзский бархат, Люси. Посмотри! Ты когда-нибудь видела таких ухоженных лошадей?»

«Никогда!»

«Тогда почему бы тебе не назвать их друзьями жениха, Люси? Великолепные друзья жениха, лучше не придумаешь, я заявляю. У них должно быть по сто локтей чистой благодати во всей длине их грив и хвостов; и когда они повезут нас в церковь, то все время будут расточать чистое благословение из своих глоток, как они делают это здесь и при мне. По-моему, так они должны быть моими друзьями жениха, Люси. Величественные олени! игривые собачки! герои, Люси. У нас не будет никаких свадебных колоколов; они должны ржать для нас, Люси; мы будем связаны узами брака под звуки военных труб, Люси. Прислушайся! Они ржут сейчас, думая об этом»

«Ржут в твоём лиризме, Пьер. Ну, хватит об этом. Здесь – платок, пляжный зонтик, корзина: почему ты так на них смотришь?»

«Я думаю, Люси, об удручающем состоянии, в котором нахожусь. Не далее как шесть месяцев назад я видел бедного помолвленного парня, моего старого товарища, тащившегося рядом со своей Люси Тартэн, с узелками в обеих руках; и я сказал самому себе: „Вот идет навьюченный мул, вот он, дьявольски несчастный, и он – влюблен“. И теперь посмотрите на меня! Ну, жизнь это бремя, как говорится, почему бы не быть обремененным радостью? Но посмотри, Люси, я иду на формальное объяснение и противостояю нашим грядущим трудностям. Когда мы будем женаты, я не буду таскать узлы, кроме как в случаях реальной потребности; и, более того, когда какая-нибудь из твоих знакомых девушек окажется в поле зрения, меня вовсе не обязательно будет отзывать для особого наставления»

«Теперь я действительно раздражена из-за тебя, Пьер; это – твой первый гнусный намек. Будет ли там в поле зрения хотя бы одна из знакомых мне юных леди, хотела бы я знать?»

«Шесть из них прямо по пути», – сказал Пьер, – «но они прячутся за занавесками. Я никогда не доверяю твоим уединенным деревенским улицам, Люси. Меткие стрелки вслед каждому экипажу, Люси»

«Тогда умоляю, дорогой Пьер, действительно, давай поедем!»

II

Пока Пьер и Люси катаются под вязами, позвольте рассказать вам, кем была Люси Тартэн. Само собой разумеется, она была красавицей, потому что молодые люди с румяными щеками, каштановыми волосами, как у Пьера Глендиннинга, редко влюбляются в кого-либо, если тот некрасив. И во времена грядущие так должно быть – как и в настоящее время, так и в прошедшие времена – некий великолепный мужчина и некая прекрасная женщина; и как с этим еще могут обстоять дела, если всегда во все времена и тут и там красивые молодые люди женятся на красивых девицах!

Но хотя вследствие вышеназванных условий мадам Природы в мире всегда будут красавицы, мир все же никогда не увидит другую Люси Тартэн. Ее щеки были тончайшего белого и красного цвета, с преобладанием белого. Ее глазами некая богиня глядела с небес, ее волосы были волосами Данаи, украшенными блестками золотого дождя, за перлами ее зубов пришлось бы нырять в Персидское море.

Если надолго остановить взгляд на том, кто продирается через более скромные слои общества и смят неоправданно тяжелым трудом и бедностью, то этот человек должен будет случайно увидеть некую справедливую и добрую дочь богов, которая из-за неведомых краев

очарования и богатства вливает в свет, со всех сторон гармоничная и сияющая; и как только она попадает в мир, столь же полный порока и страданий как наш, то должна будет там же сиять и дальше, как видимое подобие небес. Ведь прекрасная женщина не совсем земная. Ее собственная чувствительность не ощущает себя таковой. Толпы женщин следят за женщиной с превосходящей их красотой, входящей в комнату, как будто это сияющая на подоконнике птица из Аравии. Скажите, будете ли вы ревновать, если кто-либо не последует их открытому восхищению. Будут ли мужчины завидовать богам? И женщины завидовать богиням? Красивая женщина это урожденная Королева, как для мужчин, так и для женщин, подобная Марии Стюарт, урожденной Королеве Шотландцев, все равно, мужчин или женщин. Все человечество – её шотландцы, лояльные ей кланы будут причислены к её народам. Истинный джентльмен в Кентукки будет готов умереть за красавицу в Индостане, хотя он никогда не видел ее. Да, его сердце начнет смертельный обратный отсчет из-за нее и отправится к Плутону ради того, чтобы она могла войти в Рай. Он прогонит турка, прежде чем тот будет отрицать преданность, унаследованную всеми благородными мужами с того часа, как их Великий Предок Адам первым преклонил колени перед Евой.

У некрасивой Королевы Испании нет и половины славы красивой модистки. Ее солдаты могут свернуть головы, но своей Высотой она не в состоянии пронзить сердце, а красивая модистка способна нанизать сердца на нитку, как ожерелье. Несомненно, Красота создала первую Королеву. Если когда-либо снова наследование в Германской Империи будет оспариваться, то всего лишь одному бедному несообразительному адвокату нужно будет представить стране первую же исключительной красоты женщину, которую он случайно увидит – она вслед за этим единодушно будет избрана Императрицей Священной Римской Германской Империи; – что тут сказать, – о, если бы все немцы были бы настоящими, откровенными и великодушными господами, вообще способными к пониманию такой великой чести.

Тут не имеет смысла рассказывать о Франции как о месте всеобщей любезности. Не у тех ли самых французов-язычников существовал Салический закон? Трое из самых очаровательных существ, – бессмертные цветы линии Валуа – были исключены из претендентов на французский трон согласно этой печально известной мере предосторожности. И это Франция! Эти миллионы католиков все еще поклоняются святой Небесной Королеве Марии, и как раз десять поколений отказались от кубка и колен множества ангельских Марий, законных королей Франции. Вот причина для вселенской войны. Посмотрите, как ужасны нации, где мужчинам позволено принимать и без возражений носить избранные титулы, не имея заслуг. Американцы, а не французы, являются примерами в мире галантности. Наш Салический закон предусматривает, что вселенское уважение должно быть платой всем красавицам. Никакие самые незыблемые права человека не должны мешать их самым воздушным прихотям. Если вы покупаете лучшее место в экипаже, чтобы поехать и проконсультироваться с доктором по вопросам жизни и смерти, то стоит с готовностью отказаться от лучшего места и тащиться вдаль пешком, если симпатичная женщина, путешествуя, взмахнет единственным пером у крыльца здания.

Сейчас, – с тех пор как мы начали говорить об определенной девушке, которая отправилась в поездку в карете с определенным молодым человеком вскоре после сцены у окна дома, – такое веселое продвижение может показаться скорее периодическими записками. Но куда действительно приведет нас Люси Тартэн, если не в мир могущественных Королев и прочих других знатных существ и, наконец, отправит нас в странствие, чтобы мы смогли узреть, действительно ли огромный мир настолько прекрасен и удивителен. Разве я с незапамятных времен не обязан славить эту Люси Тартэн? Кто остановит меня? Разве она не мой герой, со мной обрученный? Где здесь противоречие? Где под покровом ночи спит другой такой же?

И всё же никак не могла Люси Тартэн уклониться от всего этого шума и грохота! Она хвалилась, но не хвасталась. К настоящему времени она безмолвно плыла по жизни, как вниз

по лугам плывет чертополох. Она была безмолвна, кроме как с Пьером, и даже с ним она провела множество безмолвных часов. О, эти любовные паузы, – как зловеще то, что грядет за ними; ведь паузы предшествуют землетрясению и всякому ужасному волнению! Но некоторое время их небо будет синим, и вся их беседа светлой, а шутки их – игривы.

Никогда я не буду опускаться до столь низменного описания! Ну как можно с бумагой и карандашом выйти в звездную ночь заняться учетом небес? Можно ли рассказывать о звездах, как о чайных ложках? Кто способен передать очарование Люси Тартэн на бумаге?

И об остальном; ее происхождение, её состояние, количество платьев в ее гардеробе и количество колец на ее пальцах – я бы с радостью посоветовал специалистам по генеалогии, сборщикам налогов и драпировщикам обратить внимание на все это. Меня интересует ангельская кротость Люси. Но поскольку кое у кого превалирует образное предубеждение против ангелов, которые являются просто ангелами и больше никем, то я измучаю самого себя, допустив таких господ и леди в некоторые детали из истории Люси Тартэн.

Она была дочерью старого и самого заветного друга отца Пьера. Но этот отец был теперь мертв, и она, единственная дочь, жила со своей матерью в прекрасном городском доме. Но хотя ее дом стоял в городе, ее сердце два раза в год пребывало в деревне. Она не всецело любила город и его пустые, бессердечные, церемониальные дороги. Это было очень странно, но наиболее красноречивым в её собственном природном ангельском характере было то, что, хотя она и родилась среди кирпича и раствора в морском порту, она все еще тосковала по несожженной земле и целинной траве. Она была подобна милой коноплянке, пусть и родившейся за прутьями клетки в палате леди на океанском побережье, и не знавшей всю свою жизнь какого-либо другого места; однако, когда приходит весенняя пора, её охватывает трепет и неопределенное нетерпение, и она не может есть или пить из-за этой дикой тоски. Не ведающая никакого опыта, но уже вдохновленная коноплянка согласно божественному вмешательству осознает, что время для миграции пришло. И именно так обстояло с Люси и ее первой тоской по зелени. Каждую весну этот дикий трепет сотрясал ее, каждую весну эта сладкая девочка-коноплянка действительно мигрировала внутрь страны. О Боже, разреши, чтобы эти и другие, – и как можно дольше после неописанных и сокровенных трепетаний ее души, когда вся жизнь станет утомлять ее, – Боже, допусти, чтобы более глубокий трепет в ней оказался одинаково важным для её заключительного ухода на небеса с этой тяжелой земли.

Для Люси было большой удачей, что ее тетушка Лэниллин – задумчивая, бездетная, седоголовая вдова – жила в собственном симпатичном доме в деревне Оседланные Луга, и совсем удачей было то, что эта прекрасная старая тетя была очень равнодушна к ней и всегда ощущала тихое восхищение Люси от её присутствия возле себя. Таким образом, домом тетушки Лэниллин, в действительности, была Люси. И теперь в течение нескольких минувших лет она ежегодно проводила несколько месяцев в Оседланных Лугах; и это проходило среди настолько чистых и мягких деревенских соблазнов, что Пьер первым почувствовал к Люси любовную страсть, которая теперь совершенно поглотила её.

У Люси было два брата: один старше её на три года, а другой на два года моложе. Но эти молодые люди были офицерами в военно-морском флоте, и поэтому они не постоянно жили с Люси и ее матерью.

Г-жа Тартэн была вполне удачлива. Она, кроме того, абсолютно сознавала этот факт и была несколько склонна обращать на это внимание других людей, вовсе не заинтересованных этим вопросом. Другими словами, г-же Тартэн, вместо того, чтобы гордиться дочерью, что было бесконечно правильно, больше нравилось гордиться кошельком, для чего у нее не было малейшей причины, отмечая, что Великий Могол, вероятно, обладал большим состоянием, чем она, не исключая Персидского Шаха, барона Ротшильда и тысяч других миллионеров, тогда как Великий Турка и все другие величества Европы, Азии и Африки при всем своем богатстве не смогли бы во всех своих объединенных землях похвастаться такой милой девоч-

кой, как Люси. Тем не менее, г-жа Тартэн была самой прекрасной леди, когда-либо приходившей в этот благовоспитанный мир. Она занималась благотворительностью, ей принадлежало пять церковных скамей во многих церквях, и еще она выступала с идеей приблизить всеобщее мировое счастье путем женитьбы знакомых красивых молодых людей друг на друге. Другими словами, она была антрепренером – не антрепренером Люцифера – хотя, говоря по правде, она, возможно, разжигала супружеский блюз в груди определенных неудовлетворенных господ, которые были связаны узами брака при её конкретном покровительстве и ее особом совете. Ходили слухи – но слухи всегда выдумка – что существовало тайное общество неудовлетворенных молодых мужей, которые изо всех сил старались частным образом распространить листовки среди всех не состоящих в браке молодых незнакомцев, предостерегая их от коварного подхода г-жи Тартэн и, ради упоминания, именуя себя под псевдонимом. Но это, возможно, было не так: из-за тысяч раздутых фитилей – горящих синем или ярким пламенем, что неважно, – г-жа Тартэн плавала в морях высшего света, заставляя все топсели кланяться ей, и буксировала флотилии, состоящие из девушек, для всех из которых она обязывалась подобрать самую прекрасную гавань в мире.

Но разве создание факела благотворительности не начинается дома? Почему её собственная дочь Люси остается без помощника? Но не так скоро: г-жа Тартэн несколько лет назад расчертила четкий план относительно Пьера и Люси; но в этом случае ее программа, как оказалось, совпала, в определенной степени, с предыдущей программой Небес, и только по этой причине случилось так, что Пьер Глендиннинг стал счастливым выбором Люси Тартэн. Кроме того, поскольку все это касалось её самой, г-жа Тартэн была, по большей части, довольно осмотрительной и осторожной во всех своих маневрах с Пьером и Люси. Более того, для всего этого не потребовалось вообще никаких маневров. Две платонических частицы после скитаний в поисках друг друга со времен Сатурна и Опис одновременно и вместе предстали перед собственными глазами г-жи Тартэн; и чего большего могла хотеть г-жа Тартэн для их навеки неразделимого соединения? Однажды, и только однажды, вялое подозрение пронеслось в голове Пьера, что г-жа Тартэн была женщиной – шулером и умела хитро уходить от разоблачения.

В момент их совсем раннего знакомства он завтракал с Люси и ее матерью в городе, и как только г-жой Тартэн была налита первая чашка кофе, она объявила, что услышала запах спичек, горящих где-то в доме, и что она должна видеть их погашенными. Поэтому, стремясь все погасить, она поднялась для того, чтобы найти зажжённые спички, оставив пару в покое для обмена кофейными любезностями, и, наконец, послала им с вышеупомянутой лестницы фразу о том, что спички или что-то еще вызвали у неё головную боль, и попросила Люси послать ей какой-нибудь тост и чай, поскольку хочет позавтракать этим утром в своих собственных покоях.

При этом Пьер перевел взгляд от Люси на свои ботинки, и как только отвернул его, то увидел на одной стороне дивана Анакреона и «Мелодии Мура» на другой, и немного меда на столе, и немного белого атласа на полу, и своеобразную кружевную вуаль на люстре.

Не бери в голову, – тем не менее, подумал Пьер, остановив свой пристальный взгляд на Люси, – я полностью приготовился быть пойманным, когда приманка установлена в Раю, и эта приманка – ангел. Он снова поглядел на Люси и увидел бесконечно подавленную досаду и некоторую непривычную бледность на ее щеке. Тогда он охотно поцеловал бы восхитительную приманку, которая так слабо противилась попаданию в ловушку. Но снова поглядел вокруг и заметил, что партитуру г-жа Тартэн под отговоркой наведения порядка поставила на фортепьяно, и, отметив, что эта же партитура стояла теперь в вертикальной стопке напротив стены, – «Любовь была однажды маленьким мальчиком», – как наиболее удаленный и единственно видимый лист, решил, что при этих обстоятельствах это замечательное совпадение, и не смог удержаться от веселой улыбки, хотя она была очень нежной, и немедленно раскаялся, тем более, что Люси, видящая и пытающаяся понять его, немедленно поднялась с необъяснимым,

возмущенным, ангельским, восхитительным и все-убеждающим «г-н Глендиннинг?», крайне смущенная наличием у него мельчайшего зародыша подозрения относительно тайного сговора Люси с предполагаемой хитростью ее матери.

Действительно ли г-жа Тартэн контролировала любой процесс вообще прежде, чем он происходил или на него появлялся намек, и деликатность в вопросе любви Пьера и Люси было ничуть не меньшей, чем весьма беспричинной и кощунственной? Были ли фальшивкой лилии г-жи Тартэн, когда они играли? Приступала ли г-жа Тартэн к созданию партии между сталью и магнитом? Нелепая г-жа Тартэн! Но весь этот мир нелеп со множеством нелепых людей в нем, главой которых была г-жа Тартэн, национальный антрепренер.

Это поведение г-жи Тартэн было более абсурдным, если заметить, что она могла не знать, чего желала г-жа Глендиннинг. И была ли Люси богатой? – то есть, собиралась стать очень богатой, когда ее мать умрет, – (печальная мысль для г-жи Тартэн) – и не была ли семья ее мужа лучше остальных, и разве отец Люси не был закадычным другом отца Пьера? И хотя для Люси можно было подобрать партию, то где среди женщин нашлась бы ровня Люси? Чрезвычайно абсурдная г-жа Тартэн! Но когда такая леди, как г-жа Тартэн, не может сделать нечего положительного и полезного, то она делает такие абсурдные дела, какие г-жа Тартэн и делала.

Но прошло время, и Пьер полюбил Люси, а Люси Пьера; и тут как раз два благородных молодых военных моряка, ее братья, как оказалось, прибыли в гостиную г-жи Тартэн из своего первого путешествия – три года по Средиземноморью. Они сразу устали на Пьера, обнаружив его на диване, и на Люси, сидевшую поблизости.

«Умоляю, присаживайтесь, господа», – сказал Пьер. – «Комната просторная»

«Мои дорогие братья!» – вскричала Люси, обнимая их.

«Мои дорогие братья и сестра!» – вскричал Пьер, обнимая их всех.

«Умоляю, сэр, сдержитесь», – сказал старший брат, который служил уже проэкзаменованным гардемаринном в течение последних двух недель. Младший брат немного отступил и, хлопнув своей рукой по своему кортику, сказал, «Сэр, мы со Средиземноморья. Сэр, разрешите мне сказать, что это совсем неуместно! Кем вы нам тут приходитесь, сэр?»

«От радости я не могу этого объяснить», – вскричал Пьер, снова весело обхватывая их всех.

«Весьма странно!» – вскричал старший брат, высвобождая из объятий воротник своей рубашки и с силой вытягивая его.

«Обрисуй!» – бесстрашно крикнул младший.

«Мир, глупыши», – крикнула Люси – «это ваш старый приятель Пьер Глендиннинг»

«Пьер? почему, Пьер?» – закричали парни. – «Обними всех снова! Ты вырос с морскую сажень! – кто бы тебя узнал? Но здесь Люси? Я спрашиваю, Люси? – какое дело у тебя здесь – а? а? – подобрала себе пару, не так ли?»

«О! Люси, не думай об этом», – вскричал, Пьер – «обойди еще один раз всех по кругу»

Таким образом, они все снова обнялись, и тем же вечером стало публично известно, что Пьер должен будет жениться на Люси.

После чего молодые офицеры взяли его на себя, чтобы подумать – хотя они ни в коем случае не планировали отдыхать – на что они имели право, хотя и косвенное, – и закрепить ранее неоднозначно истолкованное и достойное высокой похвалы положение между теперь уже помолвленными влюбленными.

III

В прекрасные старые здравые времена дед Пьера, американский джентльмен внушительного телосложения и состояния, проводил свое время в стиле, несколько отличном от стиля оранжерейных джентльменов настоящего времени. Дед Пьера был ростом в шесть футов и четыре дюйма; во время пожара в старом поместном особняке он одним ударом своей ноги разбил дубовую дверь, чтобы впустить своих чернокожих рабов с ведрами; Пьер часто при-

мерял свой военный жилет, все еще остававшийся семейной реликвией в Оседланных Лугах, карманы которого оказывались ниже его коленей, и посещал множество дополнительных комнат с большемерными опоясанными четвертными бочками; в ночной схватке в диком краю перед Революционной войной дед уничтожил двух дикарей-индейцев, превратив их головы в дубинки друг для друга. И все это было сделано кротким, сердечным и самым синеглазым джентльменом в мире, который, согласно патриархальной моде тех дней, был благородным белоголовым почитателем всех домашних богов, самым нежным мужем и самым нежным отцом, самым добрым хозяином своим рабам с самым замечательным невозмутимым нравом, безмятежным курильщиком своей послеобеденной трубки, прощающим многие раны добродетельным христианином со мягким сердцем, прекрасным, чистым, веселым, искренним, голубоглазым, божественным стариком, в чьей кроткой, величественной душе соединились лев и ягненок – подходящее изображение его Бога.

Никогда не мог Пьер смотреть на его прекрасный военный портрет без бесконечной и жалобной тоски из-за невозможности встретиться с ним живым в реальной жизни. Величественная сладость этого портрета была действительно отмечена влиянием на любого чувствительного и молодого наблюдателя с широкой душой. Для него этот портрет обладал небесной убедительностью ангельской речи; великолепное евангелие было вставлено в рамку и повешено на стену, и объявило всем людям, как с горы, что человек – благородное, богоподобное существо, наполненное отборным соком, состоящее из силы и красоты.

Тогда этот великий старый Пьер Глендиннинг был великим любителем лошадей, но не в современном значении этого слова, поскольку он совсем не был жокеем; одним из самых близких его друзей был огромный, гордый, серый конь с удивительным запасом привычек, со своим звериным седлом, у которого были свои конские кормушки, вырезанные наподобие старых мисок из крепких кленовых бревен; ключ от этих закров висел в его библиотеке, и никто не задавал зерна его коням, кроме него самого; в его отсутствие дома ему в его благородной службе помогал Мойяр, неподкупный и пунктуальный старый негр. Он говорил, что человек не любит своих лошадей, если собственными руками не кормит их. Каждое Рождество он наполнял меры до краев. «Я отмечаю Рождество со своими лошадьми», – говорил великий старый Пьер. Этот великий старый Пьер всегда поднимался на восходе солнца, мыл свое лицо и грудь под открытым небом и затем, вернувшись к своему туалету и полностью одевшись, наконец, шагал дальше, чтобы произвести церемониальную переключку в своих конюшнях, обещая своим весьма благородным друзьям очень хорошее и радостное утро. Горе было Кранцу, Киту, Дьюи или любому другому из его постоянных рабов, если великий старый Пьер находил одну лошадь непокрытой или хоть один сорняк среди сена, которое наполняло стойло. Не то, чтобы он когда-либо порол Кранца, Кита, Дьюи или любого другого из них – явление, неизвестное в стране в это патриархальное время, – но он отказывался говорить им свои обычные добрые слова, и для них это было очень горько, для Кранца, Кита, Дьюи и всех тех, кто любил великого старого Пьера, как любили пастухи старого Авраама.

Что это за чинный, барский, седой конь? Кто этот старый халдей, едущий повсюду? – Это великий старый Пьер, который каждое утро, прежде чем поест, идет гулять со своим оседланным зверем и не садится на него, не испросив сначала разрешения. Но время прошло, и великий старый Пьер постарел: великолепные гроздья его жизни теперь лопались от соков; совесть не позволяла ему обременять своего величественного зверя столь мощным грузом мужественности. Кроме того, благородный зверь сам постарел и его большие, внимательные глаза приобрели трогательный задумчивый взгляд. Нога человека, поклялся великий старый Пьер, никогда уже не будет в стремени на моем коне, его нельзя больше использовать, не трогайте его! Тогда каждую весну он стал засеивать поле клевером для своего коня и в разгар лета сортировал все луговые травы, отбирая сушеное сено на зиму и обмолачивая предназначенное

коню зерно цепом, древко которого когда-то несло флаг в жаркой битве, где тот же самый старший конь гарцевал под великим старым Пьером: один махал гривой, другой – мечом!

Теперь великий старый Пьер должен был отказаться от утренней езды; он больше не ездил на старом сером коне. Ему построили фаэтон, пригодный для толстого генерала, чей пояс мог бы опоясать трех обычных людей. Удвоенными, утроенными были огромные S-образные кожаные рессоры, колеса казались украденными с некоего завода; сидение было похоже на укрытую кровать. Из-под старой арки уже не одна лошадь, а две каждое утро вывозили старого Пьера, как выводят китайцы своего толстого бога Джа один раз в год из своего храма.

Но время прошло, и пришло утро, когда фаэтон не появился, но все дворы и корты были заполнены, шлемы выстроились в линию, взятые наизготовку обнаженные мечи ударялись о каменные ступени крыльца, на лестнице зазвенели мушкеты, и печальные военные мелодии раздались во всех залах. Великий старый Пьер умер, и, как герой старых сражений, он умер в канун другой войны; перед тем, как уйти стрелять в неприятеля, его взводы салютовали над могилой своего старого командующего: великий старый Пьер умер в лето от рождества Христова 1812-е. Барабан, что выбивал медь его похоронного марша, был британской литаврой, которая когда-то помогла разбить тщеславный марш, направленный на захват тридцати тысяч предназначенных к заключению человек и уверенно ведомый известным хвастливым мальчиком Бургойном.

На следующий день старый серый конь отвернулся от своего зерна, развернулся и бесильно заржал в своем стойле. Теперь он отказывался быть похлопанным рукой доброго Мойяра; понятно, что если бы лошадь могла говорить, то старый серый конь сказал бы – «Я не чувствую обычного запаха рук; где великий старый Пьер? Нет моего зерна, нет моего конюха. – Где великий старый Пьер?»

Он спит недалеко от своего хозяина, под посевной травой на мягком ложе; и задолго до того великий старый Пьер и его конь прошли через эту траву к славе.

Но его фаэтон – словно украшенный перьями катафалк, пережил тот благородный скучный груз, который он возил. И подобно тому, как темно-гнедые кони тащили великого старого живого Пьера, так и его завещание влекло его мертвого и следовало за гордым седоком темно-серого коня: эти темно-гнедые кони все еще существовали, но не в себе самих или в своем потомстве, но в двух потомственных жеребцах своей породы. Ведь на землях Оседланных Лугов человек и лошадь – оба – наследники; и этим ярким утром Пьер Глендиннинг, внук великого старого Пьера, теперь ехал вместе с Люси Тартэн, посаженной там, где сидел его собственный предок, и правил конями, чьих прапрапрадедов прежде держал в узде великий старый Пьер.

Какую же великую гордость чувствовал Пьер, воображая двух конных призраков, парой запряженных в фургон. «Это не коренники», – кричал молодой Пьер – «это вожди поколений»

IV

Но Любовь ближе к своему собственному возможному и реальному потомству, нежели к когда-то жившим, но теперь несуществующими прежними родословным. Поэтому румянец Пьера от семейной гордости быстро уступил место более глубокому колориту, когда Люси заставила его поднять на щеках знамя любовного румянца.

Это утро было выбрано из тех глубин, что есть у Времени в его сосуде. Невыразимая чистота мягкой сладости неслась с полей и холмов. Фатальное утро для всех обрученных влюбленных. «Идите к собственному осознанию», кричало оно. «Полюбуйтесь нашим воздухом, влюбленные», – щебетали птицы с деревьев; далеко в открытом море матросы больше не вязали свои булины; их руки потеряли свою сноровку; они или не они, но Любовь связала любовные узлы на каждой украшенной блесками штанге.

О, похваляющиеся стать красой этой земли, красой и цветком, и испытывающие радость от этого! Первые созданные миры были зимними мирами; вторые – весенними мирами; третьи

и последние – чистейшие – стали летом нашего мира. В холодных и нижних сферах проповедники вещают о земле, как раньше мы вешали о Рае. О, там, мои друзья, они скажут, что там есть сезон, на тамошнем языке называемом словом «лето». В эту пору их поля прядут себе зеленые ковры, снег и лед лежат не по всей земле, и тогда же миллион странных, ярких, ароматных частиц осыпают этот луг благовониями; и высокие, величественные существа, немые и великие, стоят с протянутыми руками и держат свои зеленые навесы над веселыми ангелами – мужчинами и женщинами – которые любят и женятся, и спят, и мечтают под одобрительными взглядами видимых ими бога и богини, радующегося сердцем солнца и задумчивой луны!

О, похвалявшийся быть красотой этой земли; красота и цветение, и переполняющая радость от этого. Мы жили прежде и будем жить снова, как надеемся на более справедливый мир, чем тот, что пришел, поскольку сами произошли из того мира, что менее прекрасен. От каждого последующего мира демон Принципа отходит все больше; он – проклятая помеха родом из хаоса, и с каждым новым переходом мы оставляем его все дальше и дальше позади. Осанна этому миру! Он сам по себе красив, и он – преддверие к более красивому. Из некоего Египетского прошлого мы пришли в этот новый Ханаан, и из этого нового Ханаана мы направляемся в некую Черкессию. Хотя корни зла, Нужда и Горе, все еще сопровождают нас на пути из Египта, и теперь нищенствуют на улицах Ханаана, все же Врата Черкесии не должны пропустить их; они, с их родителем, демоном Принципа, должны отступить в хаос, из которого они вышли.

Любовь была первым, что породили Радость и Мир в Эдене, когда мир еще был молод. Человек томился от осторожности, он не мог любить; человек мрака не находил бога. Поскольку молодость, по большей части, не отступает и не знает мрака, то с тех пор, как время начало свой действительный отсчет, молодости принадлежит любовь. Любовь может закончиться с горем и с возрастом, и с болью, и с потребностями, и со всеми другими признаками скорбящего человека, но начинается любовь с радости. Первый вздох любви никогда не заканчивается выдохом, только смехом. Любовь сначала смеется, а после вздыхает. У любви нет рук, но есть цимбалы; уста Любви разделены на камеры как горн, и инстинктивные вдохи её жизни наполнены праздничными приметами счастья!

Тем утром две гнедые лошади тянули хохочущую пару вдоль дороги, которая вела к холмам Оседланных Лугов. Все время они непрестанно громко болтали: Пьер Глендиннинг – молодым мужественным тенором, Люси Тартэн – девичьим сопрано.

С поразительно красивым лицом, голубоглазая, со светлыми золотыми волосами, Люси была одета в цвета, гармонирующие с небесами. Голубой – твой нескончаемый цвет, Люси; светло-голубой для тебя лучше всего – такую повторяющуюся голубизну советовала мать Люси Тартэн. С обеих сторон от ограды к Пьеру обращались цветки клевера Оседланных Лугов, а изо рта и со щек Люси исходил молодой аромат свежей фиалки.

«Это пахнут цветы или ты?» – кричал Пьер.

«Я вижу озера или глаза?» – кричала Люси, сама заглядывая в его душу подобно тому, как пристально смотрят две звезды в альпийское озеро.

Ни один корнуэльский шахтер никогда не погружался в шахту, настолько уходящую глубже уровня моря, насколько глубже взгляда пловцов погружалась Любовь. Любовь глядит на десять миллионов морских сажений вниз, пока её не ослепит жемчужное дно. Глаза – собственное волшебное стекло Любви, через которое все неземное предстает в сверхъестественном свете. В море меньше рыб, чем сладких видений в глазах влюбленных. В этой удивительной полупрозрачности плавают странные глазастые рыбы с крыльями, которые иногда выпрыгивают от инстинкта радости, влажные крылья рыб это влажные щеки влюбленных. Глаза любви святы, в них поселились тайны жизни; вглядываясь в любые другие глаза, влюбленные видят скрытую первооснову мироздания и при помощи обостренных ощущений, извечно непередаваемых, чувствуют, что Любовь – бог всего. Мужчина или женщина, которые никогда

не любили, никогда не проникали в глубину своих собственных влюбленных глаз, не знают самую сладость и самую высшую религию этой земли. Любовь для человечества это евангелие Создателя и Спасителя, а его томик обернут лепестками розы, перевитыми фиалками, клювами колибри, и персиковым соком припечатан к листьям лилий.

Бесконечна летопись Любви. Время и пространство не могут вместить историю Любви. Все, на что сладко смотреть или пробовать, или чувствовать, или слышать, все это было создано Любовью, и ничего другого Любовь не создала. Любовь не создает арктические зоны, но Любовь иногда меняет их. Скажите, не жестоко ли ежедневно и ежечасно происходящее на этой земле? Где теперь ваши волки в Великобритании? Где теперь в Вирджинии вы найдёте пантеру и леопарда? О, любовь находится везде. Везде у Любви есть моравские миссионеры. Нет Проповедника, которому не нравилось бы любить. Южный ветер дразнит северный варварский ветер; на многих дальних берегах более нежный западный ветер увлажняет засушливый восток.

Вся эта Земля обручена с Любовью; безуспешно демон Принципа требует не оглашать имена вступающих в брак. Почему вокруг центра этого мира находится столь богатая буйной тропической зеленью зона, если она не одежда для финальных обрядов? И почему она представляет апельсиновые цветки и лилии из долины, если они не предназначены для тех мужчин и девиц, что желают любить и жениться? Каждой свадьбой связанные узами брака истинно влюбленные помогают маршу вселенской Любви. Кто-то из невест должен будет стать подружками невесты-Любви в мире брака. Поэтому со всех сторон Любовь очаровательна; сможет ли сдержать себя тот юноша, который видит чудо прекрасной женщины мира? Где есть красивая женщина, там есть вся Азия и все её Базары. Италия не видела красоты Девочки-американки, но небеса шлют благословение из-за пределов ее земной любви. Разве ангелоподобные Лотарио не спускались на землю, на которой они могли бы испытать Любовь и Красоту смертной женщины? Разве ее собственные глупые братья после не тосковали о том же самом Рае, который они покинули? Да, те, кто завидовал ангелам, спустились, воистину ушли; и кто эмигрирует, если не в поисках лучшей доли? ⁴

Любовь – этот великий всемирный избавитель и реформатор; и поскольку все красивые женщины – ею избранные эмиссары, то и Любовь одаривает их магнетической убедительностью, которую ни одна юность не способна отразить. Собственный сердечный выбор каждого юноши иногда кажется ему загадочными чарами, как и десять тысяч концентрических периодов и круговых заклинаний, доносящихся со всех сторон, как только он повернется, бормотание слов неземного происхождения, сбор для него всех подземных эльфов и гномов и очистка всего моря для наяд, чтобы те плавали вокруг него; и так как эти тайны вызваны вздохами Любви, то зачем тогда удивляться тому, что эта Любовь и есть мистика?

V

И это же самое утро казалось Пьеру весьма мистическим, хотя и не всегда; но самым мистическим был один момент, изобиловавший безумным, необузданным весельем, о котором будет рассказано позже. Он одновременно казался юным волхвом и почти шарлатаном. Халдейская импровизация вырывалась из него быстрыми Золотыми Стихами на грани остроумия и находчивости. Более того, ясный взгляд Люси передался ему. Теперь, пока безрассудство лошадей с обеих сторон держало Люси в его объятиях, он, как сицилийский ныряльщик, нырял в адриатическую глубину души ее глаз и доставал оттуда некий королевский кубок радости. Все волны в глазах Люси казались ему волнами бесконечного ликования. И словно настоящие моря, они действительно ловили отраженные всполохи этого прозрачного голубого утра; в глазах Люси, казалось, засияла вся небесная синева главного дня и вся непостижимая небесная сладость. И, конечно же, голубизна глаз женщины, как море, не может не зависеть от атмо-

⁴ Персонаж из пьесы В. Шекспира (прим. пер.)

сферы. Только под открытым небом некоего самого божественного, летнего дня вы увидите ультрамарин, – его жидкую ляпис-лазурь. Затем Пьер с силой взорвался в некоем пронзительном крике радости, и полосатые тигры его каштановых глаз запрыгали в своих исхлестанных клетках с жестоким восхищением. Люси уклонилась от него на пике любви, из-за самой острой сути высочайшей вершины Любви, Страха и Восхищения.

Вскоре быстрые лошади примчали этого истинного бога и богиню к почти заросшим холмам, чья далекая синева уже поменялась на разные оттенки зелени, вставшей перед ними как старые мшистые вавилонские стены, в то время как повсюду расставленные на одинаковом расстоянии пики казались стеновыми башнями, а собравшиеся в группу сосны возвышались над ними во всю ширь, будто высокие лучники, выглядывающие, словно наблюдатели, в дни славного Города Вавилона. Ловя воздух холмов, скачущие лошади ржали, потешаясь ликующими ногами над землей. Они почуяли веселый восхитительный позыв дня, поскольку день обезумел от чрезмерной радости, и высоко в небе было слышно ржание лошадей Гелиоса, пена из ноздрей которых выпадала вниз густыми кудрявыми туманами с холмов.

С равнин медленно поднимался туман, с трудом оставляя столь сочный луг. На этом зеленом склоне Пьер обуздал своих коней, и скоро парочка уселась на берегу, пристально глядя вдаль, и еще дальше, на множество рощ и озер, рогатые хребты и низменные пастбища, растянувшиеся ярко-зеленые топи, служащие признаком того, что сама зеленая щедрость этой земли ищет свои извилистые каналы, и того, что, как всегда, больше всего небесная щедрость ищет тихие места, создавая зелень и счастье для множества скромных смертных, и уходит к своему собственному сухому одиночеству во множестве высокогорных княжеств.

Ни Горе, ни Радость не бывают моралистами; и из этой сцены Пьер уловил маленькую мудрую мораль. Пока он сжимал руку Люси своей рукой и чувствовал, мягко чувствовал её мягкое покалывание, ему казалось, что он был перевязан летними молниями и посредством нежных последовательных ударов получает намеки на неземные сладости земли.

Теперь, распростершись на траве, он направил свой неподвижный и внимательный взгляд на глаза Люси. «Ты – моё небо, Люси; и здесь я лежу, твой пастух-король, наблюдающий за новыми глазами-звездами, оживающими в тебе. Ха! Теперь я вижу прохождение Венеры; – Ло! там новая планета, и позади всего – бесконечная звездная туманность, как будто твое существо было фоном для некоего сияния, уступающего место таинственности»

Действительно ли Люси оставалась глуха ко всему этому бреду его лирической любви? Почему она глядела вниз и дрожала, и почему теперь с ее бесценных век стекало такое тепло? Никакой радости уже не было в глазах Люси, и казалось, что у неё дрожат губы.

«Ах! Ты слишком горяч и порывист, Пьер!»

«Нет, ты слишком сырой и изменчивый апрель! Ты разве не знаешь, что сырой и изменчивый апрель сопровождается веселым, уверенным и радостным сухим июнем? И разве этот, Люси, этот день не должен стать твоим июнем, как раз как эта земля?»

«Ах Пьер! Для меня нет июня. Но скажи, не сладок ли июнь сладостью апрельских слез?»

«Да, любовь! но здесь падение более глубокое, – все больше и больше; – эти дожди дольше, чем апрельские, и не свойственны июню»

«Июнь! Июнь! – Ты – месяц летних невест, – следующий за весной сладкий ухажер земли, – мой июнь, мой июнь всё же должен наступить!»

«О! он все же придет, но будет устойчив, – станет хорошо, когда он придет, и лучше».

«Тогда нет существует такого цветка, которого в зародыше не питали бы апрельские ливни; а разве такой цветок не может безвременно погибнуть, не распутившись к июню? Ты не хочешь в этом поклясться, Пьер?»

«Бессмертные дерзости самой божественной любви находятся во мне; и теперь я клянусь тебе всеми неизменными вечными радостями, о которых когда-либо мечтала женщина в этом земном доме мечты. Бог сулит тебе неизменное счастье и мне, беспорному обладателю тебя

и всего остального, благодаря моему неотчуждаемому поместью. – Я брежу? Смотри на меня, Люси; думай со мной, девочка»

«Молодой и красивый, и сильный; и радость от мужества питает тебя, Пьер; и твоё бесстрашное сердце никогда еще не ощущало прикосновение страха. Но...»

«Что „но“?»

«Ах, мой прекрасный Пьер!»

«С поцелуями я высосу твою тайну из твоей щеки! – но что?»

«Позволь нам поспешить домой, Пьер. Какая-то неизъяснимая печаль, слабость странным образом пришла ко мне. Я предчувствую бесконечный мрак. Расскажи мне еще раз историю этого лица, Пьер, – столь таинственного, преследующего лица, о котором ты однажды поведал мне, которого ты действительно трижды безуспешно пытался избежать. Синее небо, о, мягкий воздух, Пьер, но – расскажи мне историю лица, – темноглазого, блестящего, умоляющего, жалобного лица, что так мистически бледно, – зажатого в тебе. Ах, Пьер, иногда я думаю, что никогда не стану женой моего прекрасного Пьера, пока разгадка этого лица не станет известной. Скажи мне, скажи мне, Пьер, – что это за застывший василиск с мрачно пылающим, непоколебимым взглядом, лицо которого сейчас же завораживает меня»

«Околдованный! околдованный! – Будь проклят час, когда у меня появилась мысль, что Любовь неисчерпаема. Я никогда не расскажу тебе историю этого лица, Люси. Я приоткрыл тебе слишком многое. О, Любовь никогда не должна всего знать!»

«... Не всё знать, затем не всё любить, Пьер... Никогда ты не скажешь так снова; и, Пьер, слушай меня. Сейчас, сейчас, в этом необъяснимом трепете, который я чувствую, я действительно заклинаю тебя, что ты слабеешь, когда продолжаешь делать то, что ты делаешь; поэтому для того, чтобы я всегда могла продолжать знать все, что волнует тебя, твои легкие и скоротечные мысли, у тебя должна будет произойти очистка от густой атмосферы, состоящей из всего того, что касается смерти. Здесь я сомневаюсь относительно тебя; – могла ли я когда-либо подумать, что в твоём сердце все еще скрыт от меня один укромный уголок или угол; для меня настал бы фатальный день освобождения от чар, мой Пьер. Я говорю тебе, Пьер, – эта Любовь, которая теперь говорит моими устами – только в неограниченной вере и обмене всеми самыми тонкими тайнами; тогда Любовь все в состоянии вынести. Любовь сама по себе тайна, и потому питается тайнами, Пьер. Знала бы я о тебе только то, что может знать весь мир – кем тогда был бы для меня Пьер? – Ты должен полностью раскрыть мне тайну; Любовь тщетна и горда, и когда я пойду по улицам и встречу твоих друзей, я все еще должна буду смеяться и быть приверженной этой мысли. – Они не знают его – только я знаю моего Пьера; – никого нет ближе к кругу вращения вот этого моего солнца. Затем поклянись мне, дорогой Пьер, что, теряя присутствие духа, ты никогда не будешь хранить тайны от меня – нет, никогда, никогда; – клянись!»

«Что-то удерживает меня. Твои необъяснимые слезы падают, падают на мое сердце и уже превратили его в камень. Я чувствую ледяной холод и тяжесть; я не буду клясться!»

«Пьер! Пьер!»

«Бог помогает тебе, и Бог помогает мне, Люси. Я не могу и думать, что в этом самом спокойном и приятном воздухе невидимые агенты готовят заговор против нашей любви. О! если вы – теперь почти рядом с нами, то вы те, кого я не могу назвать; тогда именем того, кто обладает силой – святым именем Христа я заклинаю вас отступить от нее и от меня. Не трогайте ее, вы, воздушные дьяволы; отправляйтесь в предназначенный для вас ад! почему вы, крадучись, заходите в эти небесные пределы? Цепи всемогущей Любви не могут связать вас, злодеев?»

«И это Пьер? Его глаза страшно сверкают; теперь я вижу их глубину слой за слоем; он оборачивается и грозит воздуху и говорит с ним, как будто бросает воздуху вызов. Горе мне, если волшебную любовь закроет это злое пятно! – Пьер?»

«Но сейчас я был бесконечно далек от тебя, о моя Люси, в расстройстве блуждая душевною ночью; но твой голос мог бы найти меня, даже если б я блуждал в краю Борея, Люси. Здесь я сижу рядом с тобой, я ловлю от тебя успокоение»

«Мой собственный, мой личный Пьер! Пьер, я могу теперь разорваться ради тебя на десять триллионов частей; я спрятала бы тебя в моей груди и там держала бы в тепле, даже сидя на плавающих арктических льдинах, замораживающих до смерти. Мой собственный, лучший, счастливый Пьер! Теперь могу ли я вонзить в себя некий кинжал, чтобы тем самым мои ничтожные боли повлияли на тебя и заставили бы тебя страдать? Прости меня, Пьер; твоё изменившееся лицо добилось от меня другого, страх за тебя превзошел все другие страхи. Теперь он уже не с такой силой преследует меня. Сожми мою руку, гляди на меня твердым взглядом, моя любовь, эти последние следы могут пройти. Теперь я снова чувствую себя почти в порядке; теперь это ушло. Наверх, мой Пьер, вези нас вверх и правь на эти холмы, где, я боюсь, нас встретит слишком широкая перспектива. Летим к равнине. Посмотри, твои кони ржут для тебя – они дают тебе знать – посмотри, облака летят вниз к равнине – Ло, все эти холмы теперь кажутся пустынными мне и всей зеленой долине. Благодарю тебя, Пьер. – Посмотри теперь – я оставляю холмы с сухими щеками и оставляю все слезы позади, чтобы их впитали эти вечнозеленые растения. Встречая признаки неизменной любви, моя собственная печаль съедает меня. Тяжела судьба, если Любовь, словно прекрасная зелень, должна быть питаема такими слезами!»

Теперь они быстро катили под уклон, не соблазнившись вершинами холмов, но ускорившись в направлении равнины. Облако уже сошло с глаз Люси; уже не было мертвенно-бледных косых наклонных легких морщин, уходящих вверх от бровей ее возлюбленного. На равнине они снова нашли мир, любовь и радость.

«Это был самый простой, беспричинный, холостой пар, Люси!»

«Пустое эхо печального звука, Пьер, долго звучащее. Благослови тебя Бог, мой Пьер!»

«Великий Бог постоянно прикрывает тебя, Люси. Итак, теперь мы дома».

VI

Посмотрев на Люси в самой светлой гостиной ее тети и на то, как она раздвинула жимолость, наполовину пробравшуюся в тамошнее окно, рядом с которым находился ее мольберт для рисования, на части конструкции которого Люси ловко поправила две тонких виноградных лозы, в чьи заполненные землей горшки были вставлены две из трех ножек мольберта, и, присев возле неё, при помощи своей приятной, легкой беседы Пьер стремился извести последний след печали. И только когда ему показалось, что он этого полностью добился, Пьер поднялся, чтобы позвать к ней ее славную тетю, и тем самым получить себе отпуск до вечера, Люси позвала его, попросив сначала принести ей синий портфель из ее комнаты, поскольку она хотела уничтожить последние остатки его непрекращающейся меланхолии, – если что-то действительно еще оставалось – направив его мысли на небольшой карандашный эскиз, на сцены, далеко отстоящие от пейзажей Оседланных Лугов и их холмов.

Поэтому Пьер поднялся по лестнице, но остановился на пороге открытой двери. Он никогда не входил в эту комнату без чувств заметной почтительности. Ковер казался ему святой землей. Каждый стул для него был освящен неким покойным святым, который когда-то давно на нем сидел. Здесь его книга Любви становилась сводом правил богослужения, и они гласили: «Поклонись сейчас же, Пьер, поклонись». Но эта чрезвычайная преданность любовному благочестию, исходившая из него проблесками самой сакральной внутренней святости, в то же время не ослабевала из-за такого ускорения всех его импульсов, когда, фантазируя, он обнимал в объятиях прекрасный широкий мир только потому, что весь этот мир самостоятельно избрал Люси величайшей любовью его сердца.

Теперь, пересекая волшебную тишину пустой комнаты, он поймал взглядом белоснежную кровать, отражавшуюся в туалетном зеркале. Он проникся этим видом. За один короткий

миг он, казалось, разглядел одним взглядом две отдельные кровати – реальную и отраженную – и вслед за этим непрошеное предчувствие большого несчастья закралось в него. Но с одним дыханием оно пришло и ушло. Поэтому он приблизился, а затем с любящей и радостной нежностью его взгляд упал на самую безупречную кровать и остановился на белоснежном свитке, который лежал возле подушки. Он сейчас же привстал; Люси, как ему показалось, поднималась к нему; но нет – это только носок одного из её маленьких шлепанцев случайно выставился на свет из-под узких нижних оборок кровати. С другой стороны его взгляд остановился на тонком, белоснежном, раздражающем рулоне, и он встал, как очарованный. Ни один драгоценный греческий пергамент не стоил и половины увиденного его глазами. Ни один дрожащий ученый не стремился с большим желанием развернуть мистический пергамент, нежели Пьер, жаждущий открыть священные тайны этого белоснежного, раздражающего предмета.

Но его руки коснулись не каждой вещи в этой палате, а только той, за которой он туда пошел.

«Вот синий портфель, Люси. Посмотри, ключ висит возле его серебряного замка, – разве ты не боишься, что я открою его? – должен признаться, он привлекает»

«Открой его!» – сказала Люси, – «почему, нет, Пьер, почему нет; какую тайну я храню от тебя? Прочти меня снова и снова. Я – полностью твоя. Посмотри!» – и рывком открытый портфель явил все сорта радужных вещей, выскочивших из него вместе с самым тонким ароматом некой невидимой сущности.

«Ах! Ты святой ангел, Люси!»

«Почему-то, Пьер, ты искусно преобразился; ты теперь огорчен как тот, кто... – почему, Пьер?»

«Как тот, кто только что заглянул в рай, Люси, и...»

«Снова блуждаешь в своем уме, Пьер; более того – ну, ты не должен оставлять меня теперь. Я снова вполне отдохнула. Скорей позови мою тетю и оставь меня. Стой! Этим вечером мы должны просмотрим книгу эстампов из города, как ты помнишь. Прибуди пораньше, – теперь иди, Пьер»

«Ну, до свидания, до вечера, ты выше всякого восхищения».

VII

Как только Пьер проехал через тихую деревню под вертикальными тенями полуденных деревьев, сладкая сцена в комнате оставила его, а мистическое лицо снова явилось ему и осталось с ним. Наконец, придя домой, он нашел свою мать отсутствующей; поэтому, пройдя прямо через широкий средний зал особняка, он спустился по площадке к другой дороге и в мечтательности побрел дальше вниз к речному берегу.

Здесь в стороне стояла одна древняя сосна, по счастью оставленная усердными лесниками, когда-то давно расчищавшими этот луг. Однажды выйдя к этой благородной сосне из зарослей болиголова, стоящих далеко за рекой, Пьер впервые отметил такой значительный факт, что, болиголов и сосна – деревья одного роста и высоты, и так похожи по внешнему виду, что люди, далекие от работы с лесом, иногда путают их; и если оба дерева, согласно пословице, символизируют печали, то все же у темного болиголова нет музыки в его вдумчивых ветвях, а нежная сосна испускает печальную мелодию.

Среди его полуобнаженных печальных корней и уселся Пьер, оценив крепость ствола и корень, разросшийся дальше всех остальных, что уходил вниз к берегу, и который несколько лет назад открылся штормам и дождям.

«Как широко, и с какой силой эти корни должны были разрастись! Несомненно, эта сосна с силой схватила эту любезную землю! Вот у того яркого цветка нет таких глубоких корней. Это дерево пережило век того веселого цветущего поколения и переживет век тех, кто придет. Это весьма печально. Прислушавшись, я уже слышу постепенно возрастающие и бесчисленные, подобные пламени, стоны этой Эоловой сосны; – ветер сейчас дышит на неё: – ветер, – это

дыхание Бога! Действительно ли Ему так грустно? О, дерево! Ты настолько могуче, так высоко, и все же так жалко! Это очень странно! Прислушайтесь! Вот я вглядываюсь в твои высокие тайны, о, дерево, лицо, лицо, глядящее сверху на меня! – „Искусен ли ты, Пьер? Подойди ко мне“ – о, твоя таинственная девочка, – что это у тебя за неподходящая подвеска, к тому другому выражению лица милой Люси, которая висит тут, а сначала висела у моего сердца! Горе – приятная подвеска? Действительно ли горе – неожиданный гость, что входит своевольно? Все же я никогда не знал тебя, Горе, – ты для меня – нарисованная легенда. Я познал несколько славных жарких волнительных безумств, я часто предавался задумчивости; почему приходит задумчивость, почему приходит печаль, откуда происходят все восхитительные поэтические предчувствия, – но ты, Горе! ты для меня все еще призрачное искусство. Я не знаю тебя, – наполовину не верю в тебя. Не то, чтобы у меня нет моих слишком маленьких заветных приступов печали, приходящих время от времени; но Бог удерживает меня от тебя, ты – другая форма далекого и глубокого мрака! Я дрожу из-за тебя! Лицо! – лицо! – снова прочь от твоих высоких тайн, о, дерево! Лицо похищает меня. Таинственная девочка! В чем твоя тайна? какое у тебя право на такое похищение моих самых глубоких мыслей? Убери от меня свои тонкие пальцы; – я обручен, но не с тобой. Оставь меня! – Что за дело у тебя ко мне? Конечно же, ты любишь не меня? – это было бы самым страшным несчастьем для тебя и для меня, и для Люси. Этого не может быть. Кто ты и что ты за создание? О! несчастная неопределенность – слишком знакомая мне и все же необъяснимая, – неведомая, абсолютно неизвестная! Я, кажется, проваливаюсь в этом непонимании. Тебе кажется, что ты знаешь что-то обо мне, что я не знаю о себе самом, – и что дальше? Если в твоих глазах мрачная тайна, избавься от нее; этого требует Пьер; что именно так незатейливо скрыто в себе, что я, казалось, видел его движение, но не его форму? Оно явно шелестит за закрытой ширмой. Сейчас, как никогда в душе Пьера, оно прежде так не закутывалось! Если действительно ничего не скрыто в нем, то высшими силами, которые требуют всех моих подлинных поклонений, я заклинаю тебя, сними завесу; я должен встретиться с ним лицом к лицу. Шагну я к шахте, предупреди меня, приближусь я к пропасти – удержи меня, но открой мне неведомое страдание, которое должно внезапно схватить меня и овладеть мною полностью, – этого ты никогда не сделаешь; и еще, основа веры Пьера в Тебя – теперь чистая, нетронутая – может убираться восвояси и дать мне стать отгородившимся атеистом! Ах, лицо уже уходит. Умоляю Небеса не только забрать его назад, но и снова скрыть в твоих высоких тайнах, о дерево! Но оно уведено – уведено – полностью уведено; и я благодарю Бога, и я снова чувствую радость; радость, которая, как я чувствую, будет у меня, как человеческое право; лишенный радости, я чувствую, что должен буду найти причину смертельной вражды с невидимым. Ха! Слой железа, кажется, становится круглым и уже шелушит меня; и я слышал, что самые горькие зимы предсказываются более толстой шелухой на индийском зерне; так говорят наши старые фермеры. Но это мрачное сравнение. Оставьте ваши аналогии; сладость в устах оратора горька в животе мыслителя. Сейчас и потом я буду вместе со своим собственным радостным желанием, и моё радостное лицо распугает всех призраков – и вот, они уходят, и Пьер теперь – снова Радость и Жизнь. Ты, сосна! – впредь я буду сопротивляться твоей слишком предательской убежденности. Ты не так часто привлекаешь меня под свой воздушный навес поразмышлять на мрачных глубоко уходящих корнях, которые держат его. Поэтому теперь я ухожу, и мир тебе, сосна! Та счастливая безмятежность, что всегда скрывается в сердечной печали – простой печали – и ждет, когда все остальное пройдет, – это теперь мое сладкое чувство легкости. Я не сожалею, что мне было грустно, я теперь чувствую себя полностью благословленным. Драгоценнейшая Люси! – хорошо, хорошо, – этим вечером нам предстоит приятное занятие; есть книга фламандских печатей – сначала мы должны её просмотреть; затем, во-вторых, Гомер Флексмана – ясные схемы, но все же исполненные неприкрашенного варварского благородства. Затем Данте Флексмана; – Данте! Он поэт ночи и Ада. Нет, мы не откроем Данте. Мне кажется, теперь лицо – лицо – возражает против моего немного

задумчивого, милого лица Франчески – или, скорее это было лицо дочери Франчески – принесенное печальным темным ветром наблюдательному Вергилию и натертому до блеска флорентийцу. Нет, мы не откроем Данте Флексмана. Печальное лицо Франчески теперь мой идеал. Флексман мог бы раскрыть его полностью, – представить это в линиях страдания – завораживающе сильно. Нет! Я не открою Данте Флексмана! Будь проклят тот час, когда я прочитал Данте! более проклят, чем час, когда Паоло и Франческа прочитали о фатальном Ланселоте!»

Книга III

Предчувствие и подтверждение

I

Лицо, на которое так странно и жутко намекали Пьер и Люси, отнюдь не очаровывало, но его мрачные смертные черты Пьер разглядел довольно ясно. И при этом оно никогда не встречалось ему лично, ни где-либо в безлюдном месте, ни под белым светом неполной луны, ни в радостном зале, освещенном свечами и оглашаемой парой самых веселых игривых женских голосов. Этот образ из-за пределов радостной сердечности все ближе подбирался к нему. Окруженный ободками света, он продолжал испускать на него лучи, неопределенно, исторически и пророчески, обращая назад, намекая на некий необратимый грех, и далее указывая на некую неизбежную беду. Это было одно из тех лиц, которые время от времени, кажется, вызывают к человеку и без единого изреченного слова все еще показывают проблески некоего почтения к евангелию. В естественном облике, но освещенные сверхъестественным светом; чувствительные, но с непостижимой душой, со своим безмолвным воздействием на нас, иногда парящие между Адским страданием и Райской красотой, такие лица, составленные из ада и небес, свергают внутри нас все неизбежные устои и заново в этом мире заставляют задаваться детскими вопросами.

Лицо предстало перед Пьером за несколько недель до его поездки с Люси к холмам за Оседланными Лугами и перед ее прибытием на лето в деревню; кроме того, это произошло посреди весьма людной и домашней сцены, что увеличило удивление.

Из-за неких дел с дальним фермером-арендатором он отсутствовал в особняке большую часть дня, и, как только появился дома ранним приятным лунным вечером, Дейтс передал ему сообщение от его матери, попросившей прибыть к ней около половины восьмого этим вечером в дом мисс Ллэниллин, чтобы сопровождать ее отсюда к двум мисс Пеннис. При упоминании об этой фамилии Пьер хорошо понял, чего ему ждать. Пожилые и воистину набожные старые девы, одаренные самыми добродетельными сердцами в мире и в середине жизни лишённые завистливой природой своего слуха, казалось, поставили своим жизненным принципом благотворительность, а поскольку Бог не дал им больше права слышать евангельские проповеди Христа, они впредь делали то, что способствовало их осуществлению. Теперь, не имея для себя возможности проявлять интерес к проповедям, они сторонились церкви, и в то время, как с молитвенниками в руках Конгрегация преподобного г-на Фэлсгрэйва была занята поклонением своему Богу, обе мисс Пеннис, согласно божественной воле, с нитью и иглой были поглощены трудами служения ему, занимаясь пошивом рубашек и платьев для бедных людей округа. Пьер слышал, что они недавно взяли на себя труд организовать регулярное общество среди жен и дочерей соседних фермеров, чтобы встречаться два раза в месяц в их собственном доме (мисс Пеннис) с целью совместного шитья в пользу разных поселений нуждающихся эмигрантов, которые в последнее время расставили свои тесные лачуги вверх по реке. Но хотя это предприятие не могло быть начато без предварительного ознакомления с г-жой Глендиннинг – она действительно была очень любима и почитаема набожными старыми девами – и обещания им основательной помощи со стороны этой доброй поместной леди, все же Пьер не слышал о том, что его мать получила официальное приглашение председательствовать или же быть всем представленной на собраниях два раза в месяц; впрочем, он предположил, что, будучи далекой от сомнений относительно таких дел, она была бы очень рада присоединиться на этом пути к славным жителями деревни.

«Теперь, брат Пьер», – сказала г-жа Глендиннинг, вставая с огромного уютного стула мисс Ллэниллин – «оберни мой платок вокруг меня; и добрый вечер тетушке Люси. – Идем, мы опаздываем»

Пока они шли, она добавила – «Теперь, Пьер, я знаю, что ты иногда проявляешь некоторое нетерпение при этих сценах шитья, но храбрись; я просто хочу заглянуть на них, чтобы получить некоторое отдаленное представление, каковы они в действительности; и затем мои обещанные пожертвования выберут себе лучшее применение. Кроме того, Пьер, я, возможно, взяла бы для сопровождения Дейтса, но я предпочла тебя, потому что хочу, чтобы ты знал, кто они и среди кого ты живешь; среди скольких действительно симпатичных и естественно чистых дам и девушек ты должен будешь однажды стать помещиком. Я жду редкое представление красных и белых сельских цветов»

Приветствуемый такими приятными обещаниями, Пьер вскоре ввел свою мать в заполненную людьми комнату. Как только они появились, старушка, сидевшая со своим вязанием возле двери, без всякой просьбы пронзительно пропищала – «Ах! дамы, дамы, – госпожа Глендиннинг! – Господин Пьер Глендиннинг!»

Почти немедленно после этого звука раздался внезапный, растянутый, неземной, девичий вопль из дальнего угла длинной, сдвоенной комнаты. Никогда прежде человеческий голос так не трогал Пьера. Хотя он не видел человека, из которого он исходил, и хотя голос был для него совершенно необычным, все же внезапный вопль, казалось, проложил свой путь прямо через его сердце и оставил там зияющую дыру. На мгновение он в изумлении остановился, но раздался голос его матери, чья рука все еще находилась в его руке. «Почему ты так сжимаешь мою руку, Пьер? Ты причиняешь мне боль. Фу! кто-то упал в обморок, – ничего более»

Пьер немедленно опомнился и, тронутый насмешкой над своим собственным трепетом, пролетел через комнату, чтобы предложить свои услуги, если в них появится потребность. Но все дамы и девы уже заранее были с ним; дико замерцали огни в потоке воздуха, вызванном резким открытием оконной створки, откуда как раз и исходил вопль. Но кульминационный момент шума скоро закончился и к настоящему времени, после закрытия оконной створки, спал почти полностью. Старшая из старых дев Пенсов, подойдя к г-же Глендиннинг, теперь дала ей понять, что у кого-то из дальней группы присутствующих трудолюбивых девушек случился внезапный, но мимолетный припадок, неопределенно приписанный некоему сложившемуся беспорядку или чему-то другому. Её самочувствие снова восстановилось. И поэтому компания, вся целиком, по-видимому, живя в своей естественной благоприятной среде, которая в любой основе суть всего лишь деликатность и благотворительность, воздержалась от всего дальнейшего любопытства, не напоминая девушке о том, что произошло, и не выделяя ее из всех присутствующих; и все иглы продолжили шить дальше, как и прежде.

Отправив свою мать поговорить, с кем ей хочется, и следить за своими собственными делами в обществе, Пьер, уже забыл в такой живой толпе обо всех прошлых неприятностях и после некоторых изысканных слов обеих мисс Пенс, – добившись их понимания через витые длинные трубки, которые, если они не использовались, старые девы носили, засунув, как пороховницу за свой корсет, – и, аналогично, после проявления глубокого и великого интеллектуального интереса к мистическому механизму огромного шерстяного носка полностью завершил свое отдельное большое знакомство со старой леди в очках. В конце концов, это было пройдено, и после какого-то более утомительного события для того, чтобы его детализировать, но занявшего его почти на полчаса, Пьер с некоторой застенчивостью и недостаточно четкой уверенностью приблизился к дальней толпе дев, где под светом множества ароматных свечей они надували все свои щеки, яркие и контрастные, как плотные клумбы с садовыми тюльпанами. Тут были застенчивые и симпатичные Марии, Марты, Сюзанны, Бетти, Дженни, Нелли и сорок более ярких нимф, которые снимали сливки и производили масло на маслобойнях Оседланных Лугов.

Уверенность всегда находится там, где присутствует уверенный в себе человек. Там, где преобладают трудности, они затрагивают наиболее свободного. Как же удивительно тогда, что при разглядывании такого густого множества сплетенных, плутоватых, наполовину отвлеченных, покрасневших лиц – оставаясь дерзким при их сильном замешательстве – Пьер также должен был немного вспыхнуть и начать заикаться из-за своих отношений к мелочам? Юношеская любовь и милосердие жили в его сердце, на его языке – самые добрые слова, но там, где он стоял, цель ради перевода взгляда устроила для его глаз засаду из лучников.

Но его смущение длилось слишком долго; его щека поменяла румянец на бледность; что необычного увидел Пьер Глендиннин? Позади первого бруствера из молодых девушек находилось несколько очень маленьких подставок или круглых столиков, где сидели небольшие группы швей по двое и по трое в сравнительно небольшом уединении. Они, казалось бы, были меньше известны в сельской компании или, иначе говоря, по некоторой причине добровольно удалились в свое скромное изгнание. На одной из этих персон, занятой за самым дальним и наименее заметным из этих маленьких столиков рядом с оконной створкой, взгляд бледного Пьера и остановился.

Сидящая девушка непрерывно шила; ни она, ни ее две компаньонки не разговаривали. Ее глаза были заняты ее работой, но время от времени очень близкий наблюдатель заметил бы, что она украдкой отводит их и робко, бочком скашивает в направлении Пьера, а затем, с еще большей украдкой и робостью, – к его женщине – матери, а потом отводит в сторону. Со временем её сверхъестественное спокойствие иногда казалось лишь попыткой скрыть борьбу чувств в ее груди. Ее неприкрашенное и скромное черное платье доходило почти до шеи и зажимало её ровной, бархатной полосой. В чистом восприятии этот бархат выглядел эластичным, ограничивающим и расширяющим, как будто что-то, наполненное силой, возвышалось в упругой области ее сердца. На её темных, оливковых щеках не было румянца или какого-либо признака беспокойства. На общем фоне эта девушка выделялась невыразимым самообладанием. Но, тем не менее, её косой взгляд скользил скрыто и робко. Скоро, словно уступая непреодолимой кульминации своих скрытых эмоций, независимо от того, какими они были, она обратила всю свою красоту к сияющим свечам, и в течение одного краткого момента это лицо со сверхъестественной откровенностью встретилось с лицом Пьера. Вот тогда замечательное очарование и еще более замечательное одиночество вместе с необъяснимой мольбой взглянуло на него с этого отныне запечатленного лица. И еще он, как показалось, увидел там яркое ристалище, где Мучение сражалось с Красотой, и где, не в силах друг друга победить, оба они полегли на этом поле.

Медленно оправляясь от своей слишком очевидной эмоции, Пьер отошел еще дальше, чтобы вернуть осознанное самообладание. Дикое, изумляющее и непостижимое стремление узнать что-то определенное об этом лице охватило его. Этому любопытству в данный момент он поддался полностью, оказавшись неспособным сопротивляться ему или хоть как-нибудь осмыслить его. Как только он почувствовал, что его расстроенное самообладание вернулось к нему, он поставил себе цель проложить путь через бруствер из ярких глаз и щек и при некоей кабинетной отговорке или другой услышать, если это возможно, голос той, чей простой тихий облик заставил его переместиться. Но пока с этим объектом в памяти он пересекал комнату, то снова услышал голос своей матери, весело звавшей его, и, обернувшись, увидел ее уже одетой в шаль и капот. Теперь он мог не искать благовидный предлог и гасить волнение в себе, поэтому поклонился хозяйкам и, поспешно простившись с компанией, пошел дальше со своей матерью.

Они шли обратно домой, в прекрасной тишине, когда заговорила его мать.

«Хорошо, Пьер, что это будет возможно!»

«Бог мой, мама, ты видела ее тогда!»

«Сын мой!» – вскричала г-жа Глендиннинг, немедленно останавливаясь в беспокойстве и отводя свои руки от Пьера, – «что – что беспокоит тебя под небесами? Это очень странно! Я,

по игривости спросила, над чем ты так упорно размышляешь; и тут ты отвечаешь мне самым странным вопрошающим голосом, который будто бы исходит из могилы твоего прадеда! Что, черт возьми, это означает, Пьер? Почему ты был столь тихим, и почему теперь ты говоришь невпопад! Ответь мне, – объясни все это: она... – она... – что она... ты разве не должен думать только о Люси Тартэн? – Пьер, остерегайся, остерегайся! Я думала, что ты более тверд в своей вере в женскую верность, на что, кажется, не намекает такое странное поведение. Ответь мне, Пьер, что это значит? Ну, я ненавижу таинственность; говори, сын мой»

К счастью, это долгое словесное выражение удивления его матери предоставило Пьеру время прийти в себя от своего удвоенного и усилившегося удивления, вызванного первым подозрением, что его мать также была поражена странным видом лица, а после, учитывая подозрение, так яростно накотившее на него, – ее видимым непониманием поглотивших его тревожных мыслей, одновременно совершенно не разделяемых ею самой.

«Это – ничего – ничего, сестра Мэри; просто самый маленький пустяк во всем мире. Я полагаю, что это был сон – лунатизм или что-то вроде того. В этот вечер там были весьма симпатичные девушки, сестра Мэри, не так ли? Ну, давай пойдём – идем, сестра моя»

«Пьер, Пьер! – но я снова возьму твою руку, – и тебе действительно ничего больше сказать? ты действительно бредил, Пьер?»

«Я клянусь тебе, моя драгоценная мама, что никогда прежде, с тех пор я существую, не появлялось в моей душе такого бреда, как в этот самый момент. На сегодня это всё». Затем в менее серьезном и несколько игривом тоне он добавил: «И, сестра моя, если ты знакома с трудами каких-либо авторов по физике и гигиене, то ты должна знать, что единственное лечение такого случая безвредного временного умопомрачения для всех людей состоит в том, чтобы игнорировать его в сущности. Это главное при этой глупости. Разговор об этом только заставляет меня чувствовать себя до неприятия глупым, и не известно, может или нет он вернуться ко мне»

«Тогда любой ценой, мой дорогой мальчик, никаких слов об этом. Но то, что случилось – странно – действительно, очень, очень странно. Ну, об этом утреннем деле; как ты поступил? Расскажи мне об этом»

II

Таким образом, Пьеру, с удовольствием погруженному в этот поток приветственного разговора, было позволено сопроводить свою мать домой, не рискуя в дальнейшем вызвать у нее беспокойство или удивление. Но ни в коем случае он не мог столь легко смягчить свое собственное беспокойство и удивление. Действительно, серьезный ответ его матери был слишком верным сам по себе, хотя и уклончивым по своему эффекту, и объявившим, что никогда за всю его жизнь у него не было такого глубокого замешательства. Лицо преследовало его как некая умоляющая, прекрасная, возбужденная, идеальная Мадонна для болезненно тоскующего и восторженного, но когда-то сбитого с толку художника. И иногда, словно мистика, лицо вырастало перед его воображением, затрагивая в нем другие мысли. Растянутый, неземной, девичий вопль вычистил до дна его душу, и на данный момент он знал, что вопль исходил от лица – такой дельфийский вопль мог донестись только из такого источника. И почему раздался этот вопль? – думал Пьер. Предвещает ли оно беду этому лицу или мне, или обоим? Что я поменял, если мое появление на какой-либо сцене способно породить такое горе? Но это, главным образом, лицо – лицо, и то, что было написано на нем. Вопль там показался его случайным воплощением.

Эмоции, которые он испытывал, казалось, охватили самые глубокие корни и самые тонкие волокна его существа. И чем больше подспудного ощущалось в нем, тем больше он чувствовал его странную непостижимость. Кем приходилась ему эта неизвестная, кричащая девушка с печальными глазами? Должны же существовать где-нибудь в мире девушки с печальными глазами, и тут была только одна из них. И кем для него стала самая красивая девушка

с печальными глазами? Печаль способна быть красивой, а также хорошей, как радость – он потерял себя, пытаясь следовать этому смятению до конца. «Мне больше не надо этого безумного увлечения», – мог бы он вскричать, но изо всех областей освещенного воздуха божественная красота и молящее о страдании лицо вкрадывалось во все, что видели его глаза.

К настоящему времени, думал Пьер, я всегда безразлично относился ко всем историям о человеческих призраках и мистике; мое кредо в этом мире вынуждает меня верить в видимую, красивую плоть и слышимое дыхание, пусть даже сладкое и ароматное; но только в видимую плоть и слышимое дыхание я верил до настоящего времени. Но теперь! – теперь! – и он снова едва ли не терялся в большом удивлении и метафизических размышлениях, которые расстроили весь хитрый самоанализ его ума. Самого себя ему было слишком много. Он почуял, что на то, что он прежде всегда считал твердую действительной истины, теперь смело вторгаются оружие армии замаскированных фантомов, словно с флотилий призрачных шлюпок, высаживающихся в его душе.

Страхи лица не были Горгонами, но отраженное безобразие не поразило бы его так, как это сделало изумительное очарование его несказанной красоты и его многострадальное, безнадежное мучение.

Но он понимал, что общее впечатление, производимое на него, также было особенным; лицо так или иначе мистически обращалось к его собственным частным и отдельным привязанностям и тихим и тираническим голосом бросало вызов его самой глубокой морали, призывая встать Правду, Любовь, Жалость, Совесть. Вершина всех чудес! – думал Пьер, – оно действительно почти лишает меня мужества своим превосходством. Избегнуть лица он не мог. Закутывание самого себя в постельном белье не помогало от него скрыться. Полет от него под солнечными лучами вниз по лугам был столь же тщетным.

Для Пьера самым удивительным из всего было неопределенное ощущение, что где-то прежде он видел похожие черты этого лица. Но где, он не мог сказать; не мог даже вообразить, в самой отдаленной степени. Он хорошо знал – для одного или двух случаев это было фактом – что иногда мужчина может увидеть мимолетное выражение лица на улице, которое непреодолимо и магнетически на мгновение затронет его, как совершенно неизвестное ему и вместе с тем странно напоминающее о некоем неопределенном лице, с которым он столкнулся ранее в некое воображаемое время, а также с чрезвычайным интересом к его жизни. Но не сейчас всё обстояло не так. Лицо не смущало его в течение нескольких созерцательных минут, а затем отвернулось от него, более не показываясь. Оно оставалось рядом с ним, но только – и не безоговорочно – именно он мог отогнать его, применив всю свою решимость и своеволие. Кроме того, то, что помимо общего очарования скрывалось в его странном восприятии, казалось концентрированным, сжатым, и указывало на острое, проникающее в его сердце с необъяснимой острой болью каждый раз, когда особая эмоция – назовем её так – захватывала его мысли и предстала в его видениях тысячами форм прошлых времен и множеством легендарных старых семейных событий, знания о которых он почерпнул от своих старых родственников, теперь уже умерших.

Маскируя свою дикую мечтательность, настолько хорошо, насколько у него это получалось, от внимания своей матери и всех остальных людей в её домашнем хозяйстве, Пьер в течение двух дней боролся со своим собственным часто посещаемым духом и, наконец, столь действительно очистился от всех странностей и столь действительно вернул самообладание, что на какое-то время жизнь зашагала рядом с ним, как будто у него никогда не было такого странного волнения. Опять же, сладкие, не ограниченные условностями мысли о Люси полностью проникли в его душу, сместив оттуда всех этих фантомных жителей. Он снова ездил, ходил, плавал, он вольтижировал и с обновленным интересом бросался в пылающую практику всех мужских упражнений, которые он так сладко любил. Ему уже почти казалось, что прежде чем обещать всегда защищать, а также вечно любить свою Люси, он должен сначала полностью поддержать

и покрыть загаром самого себя и обладать той благородной мускульной мужественностью, при помощи которой он мог бы отстоять Люси перед лицом всего материального мира.

Но пока еще – даже перед случайным появлением перед ним нового лица – Пьер, из-за всей его преднамеренной страсти к гимнастике и другим увлечениям, в закрытом ли помещении, или за книгой про орнамент – пока еще Пьер в тайне не мог не раздражаться и немного не озадачиваться, как от повода, который впервые в его воспоминаниях побудил его не просто скрыть от своей матери исключительное обстоятельство в его жизни (что, как он чувствовал, было слишком не простительно, и, кроме того, как будет в конечном итоге отмечено, он мог найти один маленький прецедент для него в своем прошлом опыте), но аналогично и сверх того, парировать, нет, уклониться, и, в действительности, вернуться из-за тревоги, как выдумщик, к явному вопросу, известному его матери, – так выглядела внешне часть их разговора в той богатой событиями ночи, теперь представшая перед его утонченным умом. Он считал также, что его уклончивый ответ не оказался пантеистическим взрывом в мгновенном провале самообладания. Нет, его мать произнесла перед ним весьма длинную речь, во время которой, как он хорошо помнил, тщательно, хотя и с трепетом, он проработал в своем уме, как лучше всего ему было бы отделить ее от ее же собственного нежеланного и несвоевременного аромата. Почему так случилось? Было ли это его привычкой? Что это за непостижимая вещь, которая так внезапно схватила его и сделала обманщиком – да, обманщиком и никак не меньше – по отношению к своей собственной нежно любимой и доверчивой матери? Здесь, действительно, было что-то странное для него; здесь был материал для его запредельных этических медитаций. Но, тем не менее, при строгом самоанализе, он чувствовал, что у него в противном случае не будет такого желания; не будет желания скрыться самому в этом вопросе к своей матери. Опять же, почему так произошло? Было ли это его привычкой? Здесь, снова появилась пища для мистики. Здесь, в половинчатых подозрениях, покалываниях, предчувствиях Пьер начал понимать, что все зрелые мужчины, как волхвы, рано или поздно начинают осознавать, – и с большей или меньшей уверенностью – что не всегда в наших действиях присутствуют наши собственные факторы. Но в Пьере это понятие было развито очень слабо, а полумрак иногда подозрителен и противен нам; и таким образом Пьер умерил отвращение к адским катакомбам сознания, со дна которых его подзывало утробное воображение. Только этим, пусть и в тайне, он дорожил; только в этом он чувствовал себя убежденным, а именно в том, что в обоих мирах он не хотел бы иметь свою мать в качестве партнера для своего периодически мистического настроения.

Но не это неопишное очаровывающее воздействие лица, во время тех двух дней сначала и полностью овладевшего им как своей собственностью, запутало Пьера, удерживая, по-видимому, от самого естественного из всех устремлений, – смелого поиска и возврата к осязаемой причине и опроса, взглядом или голосом, или и тем, и другим вместе, её – самой таинственной девушки? Нет; здесь Пьер сдерживался весьма серьезно. Но его глубокое любопытство и интерес к вопросу – это покажется странным – не отнеслось к печальной персоне оливковой девушки, как к некоей опасности, а воплотилось в неопределенных образах, которые взволновали его собственную душу. ... Там..., скрывалась более тонкая тайна: ...её... Пьер стремился разорвать. Замечательное не сможет воздействовать на нас извне, если внутри нет того, что ответит встречным удивлением. Если звездный свод должен нагрузить сердце всеми восхитительными чудесами, то только потому, что мы сами – великие чудеса, и красота наша великолепней всех звезд в космической вселенной. Удивление переплетается с удивлением, а затем приходит чувство смущения. Нет никакой причины полагать, что лошадь, собака, домашняя птица когда-нибудь встанут, замерев, под этим вот величественным небесным грузом. Но арки нашей души затвердели и поэтому препятствуют тому, чтобы верхняя арка упала на нас с непостижимой неотвратимостью. «Раскрой мою самую глубокую тайну», – сказал халдейский царь пастуху, ударяя в грудь его, лежащего на спине на равнине, – «и тогда я подарю все свое вос-

хищение вам, величественные звезды!» Так, в некотором роде, и обстояло с Пьером. Объясни эту странную совокупность, ощущаемую мной самим, – думал он – поверни воображаемое лицо – и тогда я откажусь от всех других чудес ради того, чтобы пристально и с любопытством взглянуть на тебя. Но, помимо вызова со стороны твое лицо пробудило во мне первобытные чары! Для меня ты открыла одну только бесконечность, немое, умоляющее лицо тайны, лежащей в основе всех оболочек видимого времени и пространства.

Но в течение тех двух первых дней его первой дикой вассальной зависимости от его сенсационного оригинала, Пьером двигали не менее таинственные импульсы. Два или три очень простых и практических плана желательных процедур в отношении некоторого возможного простого объяснения всей этой ерунды – как он ежеминутно это называл – время от времени мимолетно прерывали его всепроникающий полубезумный настрой. Как только он схватил свою шляпу, пренебрегши своей привычкой к перчаткам и трости, то обнаружил себя на улице, очень быстро идущим в направлении сестер Пеннис. Но куда теперь? – спросил он себя, освободившись от чар. Куда ты идешь? Миллион за то, что те глухие старые девы ничего не смогут сказать тебе о том, из-за чего ты горишь. Глухие старые девы не используются в качестве хранителей таких мистических тайн. Но тогда они смогут подсказать ее имя – где она живет, и что-то, пусть и фрагментарное, и не вполне исчерпывающее, кто она, и откуда. Да; но тогда, через десять минут после твоего ухода от них все здания в Оседланных Лугах зажужжат сплетнями о Пьере Глендиннинге, занятом женитьбой на Люси Тартэн и обегавшем всю деревню, двусмысленно преследуя странную молодую женщину. Этого совсем нельзя было делать. Ты помнишь, помнишь, как часто видя мисс Пеннис, без головного убора и без платка, спешащих через деревню, два почтальона стремятся отпустить пару сладких драгоценных сплетен? В чем для них радость, Пьер, если ты теперь позовешь их. Поистине, их трубы и для использования и для выражения. Хотя мисс Пеннис были очень глухими, они ни в коем случае не были немыми. Они очень широко вещали.

«Теперь убедись и скажи, что это были мисс Пеннис, которые оставили новости – будьте уверены – мы – мисс Пеннис – напоминаем – сказать г-же Глендиннинг, что это были мы». Таково было сообщение, которое теперь полушутливо припомнилось Пьеру, однажды вечером доверенное ему старыми сестрами, когда они позвонили в дверь, представив, по мнению некоторых, очень ...изысканную ...болтовню... для его матери, но нашли помещицу отсутствующей, и потому обвинили в этом ее сына, поспешно уходя ко всем лачугам, так нигде и не опередив их открытие.

Теперь мне уже жаль, что это был никакой не другой дом, а дом мисс Пеннис; любой другой дом, кроме их дома; и своей душой я полагаю, что должен буду пойти. Но не к ним – нет, этого нельзя делать. Это, несомненно, дошло бы до моей матери, и тогда она соединила бы это вместе – поволновавшись немного – позволив ему вариться на медленном огне – и навсегда простила бы со всеми ее величественными понятиями о моей безупречной целостности. Терпение, Пьер, население этой области не столь огромно. Никакие плотные толпы Ниневии не помешают опознанию всех персон в Оседланных Лугах. Терпение; ты скоро снова должен увидеть её, поймав при встрече в некоем зеленом переулке, священном для твоего мечтательного вечера. Та, кому оно принадлежит, не может жить далеко. Терпение, Пьер. Иногда такие тайны лучше всего и весьма скоро распутываются, в зависимости от обстоятельств, путем распутывания самого себя. Или, если ты вернешься и возьмешь свои перчатки и, более того, свою трость, то уже после начнешь свое собственное секретное путешествие как первооткрыватель. Твою трость, говорю я; потому что это, вероятно, будет очень длинная и утомительная прогулка. Правда, сейчас я намекнул, что его обладательница не может жить очень далеко; но тогда ее близость может быть вообще незаметной. Поэтому, домой, и сними свою шляпу, и позволь своей трости остаться тихим, хорошим Пьером. Не стремись мистифицировать тайну.

Таким образом, как бы то ни было, шаг за шагом, вскоре, в течение тех двух печальных дней самого глубокого страдания, Пьер стал рассуждать и убеждать себя сам; и при помощи этого непосредственного медитативного лечения смог умерить свои собственные импульсы. Несомненно, мудрым и правильным было то, что он делал, несомненно; но в мире, столь полном таких сомнений, никогда нельзя быть совершенно уверенным, что другой человек, как минимум, заботливый и донельзя добросовестный, как можно лучше и во всех отношениях будет отстаивать все мыслимые интересы.

Но когда эти два дня закончились, и Пьер сам начал признавать свои шаблоны, как воскресшие для него из мистического изгнания, тогда, в мыслях о личном и остро стоящем поиске неизвестной, он, в качестве планируемого действия, либо вызывал старых сестер, либо выполнял роль обычного наблюдателя с рысьими глазами, обходящего деревню пешком, и, как лукавый исследователь, скрывал причину своих поисков; эти и все подобные намерения полностью оставили Пьера.

Теперь он старательно боролся вместе со всей своей умственной силой за то, чтобы навсегда удалить от себя фантом. Тот, казалось, чувствовал, что порождает в нем определенное состояние его существа, и очень болезненное, и сам фантом противоречит обычному для него самому естеству. Его задевало то, что он не знал, в чем состоит его, так сказать, нездоровье: он, при своем тогдашнем невежестве не мог найти лучшего термина; ему казалось, что в нем поселился некий микроб, который мог бы, если не быстро уничтожить, то коварно отравить и озлобить его на всю жизнь – этакая альтернатива восхитительной жизни, которую он обещал Люси в своем чистом и исчерпывающем предложении – одновременно жертвенном и сладостном.

Но в этих усилиях он потерпел полную неудачу. Теперь, по большей части, он чувствовал, что имеет власть над приходом и движением лица, но не во всех случаях. Иногда старая, оригинальная мистическая тирания нападала на него; длинные, темные локоны печальных волос опутывали его душу и тащили его замечательную меланхолию вперед вместе с собой; два больших, неподвижных, переполненных очарованием и мучением глаза сходились своими магическими лучами, пока он не начинал чувствовать, что они разожгли несказанные таинственные огни в сердце, на которое они нацелились.

Как только это чувство овладело им полностью, для Пьера наступило опасное время. Из-за сверхъестественности, которую он ощущал, и обращений ко всему, что находилось по другую сторону его души, он был восхитительно печален. Некая туманная фея плыла над ним в небесном эфире и поливала его самыми сладкими слезами меланхолии. Тогда же его охватило необычайное желание раскрыть секрет хотя бы еще одному человеку в мире. Только одному, не больше; он не мог держать все это обилие странностей в себе. Этим нужно было поделиться. В тот час, когда это случилось, ему посчастливилось столкнуться с Люси (её, которую, прежде всех остальных, он сделал обожаемой наперстницей). Она, услышав рассказ о лице, не спала вообще той ночью и в течение долгого времени не освобождала до конца свою голову от дикой природы, отдаленных звуков Бетховена, вальсирующих мелодий двусмысленного танца фей на пустоши.

III

Эта история движется и откатывается назад ради объяснения её причины. У нас должны быть подвижная ось, гибкий обод. Теперь мы возвращаемся к Пьеру, уходящему домой от своих мечтаний под сосной.

Его нетерпеливое возмущение возвышенным итальянцем Данте явилось результатом того, что поэт оказался тем, кто в прежнее время сначала открыл для его дрожащих глаз бесконечные утесы и заливы человеческих тайн и страданий, – хотя, по большей части, на основе увиденного, чем на сенсационном предчувствии или опыте (из-за того, что он пока ещё не видел так далеко и глубоко, как Данте, Пьер был совершенно неспособен достойно встретиться с мрачным бардом на его специфической почве), а неосознанный взрыв его молодого

нетерпения также стал результатом наполовину из-за высокомерной неприязни и наполовину из-за эгоистичной ненависти, при которых, или по естественной слабости, или по неразвитости мыслей он счел всё темным бредом более высоких поэтов, находящихся в вечной оппозиции к их же собственным прекрасно закрученным, мелким мечтам о восторженной или благоразумной Юности; этот опрометчивый, невежественный взрыв молодого нетерпеливого Пьера, казалось, сбросил вместе с собой все другие формы его меланхолии – если это была меланхолия – и теперь оставил его снова безмятежным и готовым к любому спокойному и радостному событию, которое только смогли подготовить боги. В момент быстрого движения к радости перед его темпераментом истинного Юноши предстал печальный вывод в виде надолго затянувшейся и задержавшейся радости, как раз когда она почти полностью пришла к нему.

Когда он вошел в столовую, то увидел, что Дейтс со своим подносом удалился к другой двери. Одинокая и задумчивая, сидела его мать за обнаженной половиной полированного стола за своим десертом; чаши для фруктов и графин стояли перед нею. На другом конце того же самого стола все еще лежала ткань, сложенная наизнанку, с одной положенной тарелкой и прищипанными ей аксессуарами.

«Садись, Пьер; когда я пришла домой, то с удивлением услышала, что фаэтон вернулся очень рано, и я ждала тебя здесь к ужину до тех пор, пока не смогла ждать больше. Но пойдись прямо сейчас в зеленую кладовую и забери то, что Дейтс приготовил и просто спрятал там для тебя. Хей-хо! слишком явно я предвижу это – нет более никаких регулярных обедов или чайных часов, или часов ужина в Оседланных Лугах, пока его молодой господин не связан узами брака. И это мне что-то напоминает, Пьер; но я отсрочу слова, пока ты немного не поешь. Ты знаешь, Пьер, что если ты будешь продолжать этот нерегулярный прием пищи и таким способом почти полностью лишишь меня своей компании, то я не смогу избежать риска стать ужасной винной пьяницей, – да, ты можешь невооруженным глазом увидеть, что я сижу в полном одиночестве здесь с этим графином, как какая-то старая матрона, Пьер; некая одинокая, несчастная старая матрона, Пьер, покинутая своим последним другом, и поэтому вынужденная схватиться за флягу»

«Нет, я не почувствовал большой тревоги, сестра», – сказал Пьер, улыбнувшись, – «так как я не мог не почувствовать, что графин пока еще наполнен до пробки»

«Возможно, это уже новый графин, Пьер», – тут её голос внезапно изменился, – «но заметь меня, г-н Пьер Глендиннинг!»

«Хорошо, г-жа Мэри Глендиннинг!»

«Вы знаете, сэр, что очень скоро будете женатым, – и что этот день действительно почти определен?»

«Как!..» – вскричал Пьер в неподдельном радостном удивлении, одновременно из-за сути новости и серьезного тона, которым они были переданы – «дорогая, дорогая мама, ты теперь странным образом передумала, моя дорогая мама»

«Пусть даже так, дорогой брат, – до ближайшего светлого месяца я надеюсь заполучить Тарген в качестве младшей сестры»

«Ты говоришь очень странно, мама», – быстро возразил Пьер. – «Очень сожалею, что мне почти ничего сказать по этому вопросу!»

«Почти ничего, Пьер! Что действительно ты можешь сказать об этом? Какое вообще это имеет к тебе отношение, хотела бы я знать? Так ли велика твоя иллюзия, у тебя, влюбленного мальчика, что мужчина когда-нибудь, да обязательно женится? Соседство женит мужчин. Есть всего лишь один антрепренер в мире, Пьер, и это – г-жа Соседство, самая печально известная леди!»

«Это весьма своеобразный, разочаровывающий вид разговора при данных обстоятельствах, сестра Мэри», – сказал Пьер, кладя свою вилку. «Г-жа Соседство, ах! И по твоему материнскому мнению, мама, эта чистая славная страсть обязана только ему?»

«Только ему, Пьер; но отмечу для тебя: согласно моему кредо – хотя эта его часть немного туманна – г-жа Соседство перемещает своих пешек только так, как она сама движется в соответствии со своим настроением»

«Ах! снова набор этих же правил», – сказал Пьер, подняв свою вилку – «мой аппетит вернулся. Но что такого в том, что я так скоро буду женат?» – добавил он, безуспешно стремясь принять скептический и беззаботный вид, – «Ты пошутила, я полагаю; мне так кажется, сестра, что либо ты, либо я, немного блуждаем сейчас в мыслях на эту тему. Ты действительно думала о подобных делах? и ты действительно победила свои проницательные сомнения в самой себе после того, как я так долго и безуспешно искал способ сделать это для тебя? Ну, я миллион раз восхищен; скажи мне скорее!»

«Я скажу, Пьер. Ты очень хорошо знаешь, что с первого часа, как ты сообщил мне – или, скорее, еще до того – с того момента, как я, при помощи своего собственного чутья узнала о твоей с Люси любви, я всегда одобряла её. Люси – восхитительная девочка, благородного происхождения, состоятельная, воспитанная, и настоящий образец всего, что я считаю любезным и привлекательным в девочке семнадцати лет»

«Ну, хорошо, ну, в общем», – вскричал Пьер быстро и стремительно, – «мы знали это прежде»

«Ну, хорошо, ну, в общем, Пьер», – насмешливо парировала его мать.

«Это не хорошо, ну, в общем, хорошо; но плохо, плохо, плохо подвергать меня таким пыткам, мама; иди вперед!»

«Но, несмотря на мое восхищенное одобрение твоего выбора, Пьер, я все-таки, как ты знаешь, сопротивлялась твоим просьбам о своем согласии на ваш скорый брак, поскольку думаю, что девушка всего лишь семнадцати лет и юноша всего лишь двадцати не должны спешить, – у них есть множество времени, которое, как полагаю, оба могли бы использовать и получше»

«Разреши мне здесь прервать тебя, мама. Независимо от того, что ты, возможно, видишь во мне; она – я подразумеваю Люси – никогда не спешила выйти замуж, – это – всё. Но я буду считать это твоим лингвистическим ляпсусом»

«Несомненно, ляпсус. Но послушай меня. Последнее время я вела тщательное наблюдение за тобой и Люси вместе, и это заставило меня подумать об этом вопросе в перспективе. Итак, Пьер, если бы ты имел какую-либо профессию, или какое-либо дело вообще; нет, не так, если я была бы женой фермера и ты – моим ребенком, работающим на моих полях, то почему бы тогда тебе и Люси не подождать ещё некоторое время. Но так как тебе нечего делать, кроме как думать о Люси днем и мечтать о ней ночью, и так как она находится в том же самом затруднительном положении, как я предполагаю, с уважением к тебе; и поскольку последствия всего этого определенно становятся заметны, просто очевидны, и тут довольно безопасна, если можно так выразиться, впалость щёк, но очень заметно и опасно дрожание глаз; поэтому, я выбираю меньшее из двух зол; и теперь у тебя есть мое разрешение жениться, когда захочешь. Осмелюсь спросить, не возражаешь ли ты, чтобы свадьба прошла перед Рождеством, в этот месяц, первый месяц лета»⁵

Пьер ничего не сказал, но, вскочив на ноги, обхватил обеими руками свою мать и неоднократно поцеловал ее.

«Самый сладостный и красноречивый ответ, Пьер, но присядь снова. Я хочу теперь сказать немного относительно менее привлекательных, но довольно необходимых слов, связанных с этим делом. Ты знаешь, что согласно завещанию твоего отца эти земли и...»

«Мисс Люси, моя любимица», – сказал Дейтс, бросаясь открывать дверь.

⁵ Имеется в виду Рождество Иоанна Крестителя (прим. пер.)

Пьер вскочил на ноги, но, как будто внезапно вспомнив о присутствии своей матери, снова овладел собой, хотя он все же приблизился к двери.

Вошла Люси, неся небольшую корзинку с земляникой.

«Как дела, моя дорогая», – нежно сказала г-жа Глендиннинг. – «Это – неожиданная радость».

«Да, и я предполагаю, что Пьер здесь также немножко удивлен, зная, что он был зван мною этим вечером, а не я им перед закатом. Но на меня снизошла внезапная фантазия из-за прогулки в одиночестве, – день был такой восхитительный; и нечаянно – это вышло нечаянно, – проходя через Локаст-Лейн, ведущую сюда, я встретила очень странного малого с этой корзинкой в руке. – «Да, купите же их, мисс», – сказал он. «И почему ты считаешь, что я хочу купить их», – возразила я, – «я не хочу их покупать. " – «Так купите же, мисс; они должны стоить двадцать шесть центов, но я возьму тринадцать, что будет моим шиллингом. Мне всегда нужны лишние полцента, всегда. Ну, я не могу ждать, я жду уже довольно долго»

«Весьма пронизательный маленький чертёнок», – рассмеялась г-жа Глендиннинг.

«Маленький дерзкий мошенник», – вскричал Пьер.

«И разве я теперь не самая глупая из всех глупых девочек, так откровенно рассказывающая вам о своих приключениях», – улыбнулась Люси.

«Нет, но самая божественная из всех невинных», – вскричал Пьер в рапсодии восхищения. – «Настоящий распутившийся цветок, который обладает только чистотой, которую и показывает»

«Теперь, моя дорогая маленькая Люси», – сказала г-жа Глендиннинг, – «позволь Пьеру взять твой платок, сейчас же подойди и останься с нами на чай. Пьер как раз вернулся к ужину, час чая наступит теперь очень скоро»

«Спасибо, но на сей раз я не могу остаться. Посмотрите, я забыла о своем собственном поручении; я принесла эту землянику для вас, г-жа Глендиннинг, и для Пьера, – Пьер невероятно любит её»

«Я был бы недостаточно смел, чтобы не думать так же», – вскричал Пьер, – «для тебя и для меня, ты видишь, мама; для тебя и для меня, я надеюсь, что ты это понимаешь»

«Отлично понимаю, мой дорогой брат».

Люси покраснела.

«Это столь сердечно, г-жа Глендиннинг»

«Весьма сердечно, Люси. Итак, ты не останешься к чаю?»

«Нет, я сейчас должна идти, просто немного прогуляться, это – все; до свидания! Не надо тут же следовать за мной, Пьер. Г-жа Глендиннинг, вы удержите Пьера? Я знаю, что вам он нужен; вы обсуждали некое частное дело, когда я вошла; вы оба смотрелись очень загадочно»

«И ты была не очень далека от истины, Люси», – сказала г-жа Глендиннинг, не подавая ей никакого знака остаться.

«Да, дело самой высокой важности», – сказал Пьер, многозначительно уставившись на Люси.

В этот момент Люси, оказавшись у выхода, застыла возле двери; заходящее солнце, струившееся через окно, окунуло всю её фигуру в золотое очарование и свет; ее замечательное и очень живое прозрачное лицо ясного валлийского цвета теперь воистину пылало, как розовый снег. Ее колышущееся, белое платье с синими лентами весьма удачно заполучило ее. Пьер почти решил, что она могла бы покинуть дом, лишь просто выйдя из открытого окна, вместо того, чтобы на самом деле выйти через дверь. Весь ее облик для него был в тот момент тронут неопишуемой веселостью, плавучестью, хрупкостью и неземным исчезновением.

Юность не философ. Но в сердце молодого Пьера тогда вошла мысль, гласящая, что если слава розы тянется в течение дня, то и фаза полного бутона девичьей легкости и очарования исходит из земли почти так же скоро, как заботливо поглощенные скромные элементы, заново

соединившись, превращают девичий цветок в первый раскрывающийся бутон. Но нутро молодого Пьера тогда охватили думы о запредельной печали и размышления о неизбежности исчезновения всего земного очарования, что делает самые сладкие вещи в жизни всего лишь пищей для вечно пожирающей и всеядной меланхолии. Мысли Пьера отличалась от неё и все же, так или иначе, казались ей сродни.

И это всё для того, чтобы стать моей женой? Я едва ли не на днях показал на весах сто пятьдесят фунтов твердого веса. Мне... жениться на этом небесном флисе? Мне кажется, что одно бережное объятие сломает ее воздушную оболочку, и она воспарит к тем небесам, откуда сюда и пришла, приняв облик смертной. Этого не может быть; у меня есть тяжелая земля и ее воздушный свет. Боже мой, но брак – вещь нечестивая!

Между тем, пока эти думы прокатывались через его душу, у г-жи Глендиннинг также оказались собственные взгляды.

«Очень красивая картина», – воскликнула она, наконец, мастерски повернув свою веселую головку немного боком – «очень красиво, действительно; это всё, как я предполагаю, заранее придумано для моего развлечения. Орфей, нашедший свою Эвридику, или Плутон, крадущий Прозерпину. Замечательно! Это может означать и то, и другое»

«Нет», – серьезно сказал Пьер, – «это в прошлом. Сейчас, впервые я вижу в этом смысл» Да, добавил он про себя, я – Плутон, крадущий Прозерпину; и каждый влюбленный с этим согласится.

«И ты был бы очень глуп, братец Пьер, если бы ты не увидел что-то там», – сказала его мать, все еще следуя своему собственному сложному ходу мыслей. – «Тут объяснение следующее: Люси попросила меня оставить тебя, но в действительности она хочет, чтобы ты проводил ее. Хорошо, ты можешь дойти до подъезда, но потом ты должен вернуться, поскольку мы не завершили наше маленькое дело, как тебе известно. Прощайте, маленькая леди!»

Тут всегда присутствовало некое нежное покровительственное великолепие цветущей г-жи Глендиннинг, возвышавшееся над тонким и скромным девичеством молодой Люси. Она относилась к ней так, как могла бы относиться к чрезвычайно красивому и не по годам развитому ребенку; и точно такой Люси и была. Будучи женщиной дальновидной, г-жа Глендиннинг не могла не чувствовать эту зрелость даже в женственной Люси: Люси для неё всё ещё была ребенком, поэтому она, ликуя, чувствовала, что в определенной интеллектуальной энергии, если можно так выразиться, она была существенной противоположностью Люси, сочувствующий ум и личность которой слились в единой форме поразительной деликатности. Но здесь г-жа Глендиннинг была права и не права одновременно. Настолько далеко, насколько здесь ей виделось различие между собой и Люси Тартэн, она не допускала ошибки; но именно поэтому дальше – гораздо дальше – думая, что видит свое врожденное превосходство над ней в абсолютной шкале бытия, она весьма глубоко и неизмеримо ошибалась.

Ведь чем может быть художественная стилизация ангелоподобия, если не самой высокой сущностью, совместимой с созданным существом, – внутри ангелоподобного нет вульгарной энергии. И то, что очень часто побуждает к показу какой-либо энергии – свойство, в мужчине или женщине, в основе своей являющееся устремлением, – качество чисто земное, а не ангельское. Это ложь, что все ангелы падают по причине честолюбия. Ангелы никогда не падают и никогда не бывают честолюбивыми. Поэтому доброжелательно и нежно, и со всем уважением, как будто от своего сердца, о, г-жа Глендиннинг! станьте теперь поддержкой для кудрявой Люси; а пока, леди, вы, к великому прискорбию, ошибаетесь, когда раздвигаете гордые, двойные арки яркого нагрудника на вашей груди, с тайным триумфом над той, кому вы так мягко, но все же покровительствуете, – Маленькой Люси.

Но неосведомленная об этих дальнейших идеях, эта прекрасная с виду леди, теперь ждавшая возвращения Пьера из двери портика, сидела в очень глубокой задумчивости; ее взгляд остановился на графине с вином янтарного цвета, стоящим перед нею. Случилось ли так, что

она, так или иначе, увидела некое скрытое сходство между этим удивительно тонким и изящно задуманным маленьким графином, емкостью с пинту, наполненным легким, золотым вином, или нет, теперь абсолютно не известно. Но действительно, из-за странного и похожего на пророческое, удовлетворенного выражения ее лучезарного и добродушного лица, она казалась некой тщеславной болтуней, что следовало из следующих слов: – Да, она – очень приятный небольшой графин на пинту для девочки; довольно маленький графин с пинтой Белого Шерри для девочки; а я – я – графин с кварту – Порто – крепкого Порто! Итак, Шерри для мальчиков и Порто для мужчин – так, я слышала, говорят мужчины; и Пьер – всего лишь мальчик, но когда его отец женился на мне, – почему нет, его отец снова стал тридцатипятилетним.

После недолгого дальнейшего ожидания г-жа Глендиннинг услышала голос Пьера – «Да, до восьми часов, по крайней мере, Люси – ничего страшного»; затем дверь зала хлопнула, и Пьер вернулся к ней.

Но теперь она обнаружила, что непредвиденное посещение Люси полностью расстроила весь деловой настрой ее энергичного сына; было бы благоразумно вернуть настрой снова, чтобы не было никакого сообщения с морем приятной задумчивости.

«Дорогая моя! В некое другое время, сестра Мэри».

«Не в этот раз; это весьма определено, Пьер. Честное слово, я должна буду похитить Люси и временно увезти за границу, и приковать тебя к столу, если не будет предварительного взаимопонимания с тобой, до запроса адвоката. Хорошо, я все же буду направлять тебя тем или иным способом. До свидания, Пьер; я вижу, что ты мне пока не нужен. Я предполагаю, что не увижу тебя до завтрашнего утра. К счастью, у меня есть очень интересная книга для чтения. Адью!»

Но Пьер остался на своем стуле; его пристальный взгляд остановился на тихом закате за лугом и дальше, у теперь уже золотых холмов. Стоял величественный, великолепный в своей мягкости, и самый добрый вечер, который явно казался языком всего человечества, как бы говоря: Я опускаюсь в красоте, чтобы поняться в радости; Любовь присутствует повсюду во всех мирах, приходя в виде таких закатов; страдания нет: это – глупый призрак истории. Любовь, будучи всемогущей, разве допустит страдание в своем мире? Может ли бог солнечного света учредить мрак? Повсюду этот безупречный, чистейший, ясный, красивый мир; радуйтесь сейчас и радуйтесь всегда!

Тогда лицо, которое прежде, как казалось, мрачно и укоризненно наблюдало за ним из сердца сверкающего заката, лицо это отодвинулось от него и оставило наедине с душевной радостью и мыслями о том, как этой очень важной ночью он будет произносить волшебную брачную клятву своей Люси; ну, а юность, более счастливая, чем Пьер Глендиннинг, сидела и наблюдала, как солнце этого дня клонится к закату.

IV

После этого веселого утра, уже в тот полдень, когда все случилось, и тем же вечером, столь наполненным различными мыслями, душа Пьера уже обрела радостную мягкость и спокойствие; бесподобное чувство дикого мучения от ожидаемого восторга в более слабых умах слишком часто уводит милую влюбленную птицу из ее гнезда.

Начало ночи было теплым, но темным – из-за еще не взошедшей луны, – и Пьер прошел под развесистыми пологими из длинных ветвей плакучих деревенских вязов, почти непроницаемой чернотой окружавших его, но не ведущих к залам, мягко освещенным его очагом. Он отошел не очень далеко, когда на некотором расстоянии от себя он заметил свет, медленно приближавшийся с противоположной стороны дороги. Поскольку носить фонарь было обычаем некоторых более пожилых и, возможно, робких жителей деревни, выходящих из дому темной ночью, то увиденное не было чем-то новым для Пьера; тем не менее, пока тот тихо приближался, единственно различимый им, его так или иначе охватило невысказанное предчувствие, что свет должен искать именно его. Он почти дошел до двери дома, когда фонарь пересекся

с ним; и, как только его быстрая рука коснулась, наконец, маленьких створок калитки, которая, как он мыслил, пропускала его с большим восхищением, так тяжелая ладонь легла на него, и одновременно фонарь был поднят к его лицу, закрыв темную фигуру человека, чье лицо он мог, пусть и неотчетливо, но различить. Но Пьера, открытого для обозрения, как оказалось, уже быстро исследовал другой человек.

«У меня письмо для Пьера Глендиннинга», – сказал незнакомец, – «и я полагаю, что это вы». Одновременно с этими словами письмо было вынуто и вложено в руку Пьера.

«Для меня!» – воскликнул Пьер, бледнея и приходя в себя после странной встречи. – «Мне кажется, что сейчас – странное время и место для доставки вашей почты, – кто вы? – Стойте!»

Но, не давая ответа, посыльный обернулся и уже повторно пересек дорогу. Первым импульсом Пьера было шагнуть вперед и преследовать его, но, улыбнувшись над своим собственным беспричинным любопытством и трепетом, он снова остановился и плавно повернул письмо в своей руке. Какой таинственный корреспондент, – подумал он, своим большим пальцем обводя печать по окружности; никто не пишет мне, кроме как из-за границы, и их письма приходят через контору; и что касается Люси – фу! – только что она сама была на этом месте, и едва ли её письма были бы доставлены от её собственных ворот. Странно! но я приду и прочитаю его; – нет, нет так; – я приду и прочитаю снова в ее собственном сладком сердце – это дорогое официальное письмо с небес ко мне, – и это дерзкое письмо для меня занято. Я подожду, пока не приду домой.

Он вошел в ворота и положил свою руку на дверной молоточек дома. Внезапная прохлада в его руке вызвала бы небольшое и, в любое другое время, необъяснимо приятное чувство. Непривычно для него, но дверной молоточек, казалось, произнес – «Входа нет! – Прочь, и сначала прочитай свое письмо»

Наполовину встревожившись и наполовину подтрунивая над собой, уже уступив этим темным внутренним наставлениям, он, подсознательно оставив дверь полуоткрытой, повторно прошел через ворота и вскоре снова обнаружил себя идущим домой.

Он больше не говорил с собой намеками; мрачный дух уже заполнил его сердце и погасил там свет; тогда, впервые за всю свою жизнь, Пьер осознал непререкаемые наставления и предчувствия Судьбы.

Он незаметно вошел в зал, поднялся в свою спальню и, поспешно закрыв в темноте дверь, зажег свою лампу. Как только зажженная пламя осветило комнату, Пьер встал перед круглым столом, куда его рукой лампа была поставлена на медный круг, который регулировал фитиль, и взглянул на отражение в противоположном зеркале. У отражения были черты Пьера, но лицо уже странно изменилось и стало ему незнакомым; лихорадочное рвение, страх и невысказанные плохие предчувствия! Он бросился на стул и какое-то время безуспешно боролся с непостижимой силой, которая овладела им. Затем, отвернувшись, он вытянул письмо из-за пазухи, шепча себе – на тебе, Пьер! каким робким теперь ты будешь считать себя, когда это ужасное письмо окажется приглашением на завтрашний ночной ужин; быстрее, дурачок, и напиши шаблонный ответ: г-н Пьер Глендиннинг будет очень рад принять мисс такую-то и далее – подобное вежливое приглашение.

Пока он все еще считал письмо оповещающим. Посыльный поспешно обратился к нему и поставил такую задачу, которой у Пьера еще не было, покуда он не бросил один взгляд на адрес на письме. И сейчас же дикая мысль пронеслась в его голове, каков будет результат, если он сознательно разорвет письмо, не посмотрев на почерк человека, который обращался к нему. Едва он начал тешить себя этой полубезумной надеждой самому полностью навести четкий порядок в своей душе, как ощутил, что обе его руки, сложенные посередине письма, раздвинулись! Он вскочил со своего стула – небеса! – пробормотал он, невыразимо потрясенный силой того настроения, который впервые за всю его жизнь невольно появился при совершении

в тайне постыдного для него действия. Хотя его настроение никак не приводило к собственному преднамеренному поиску; все же теперь он быстро осознал, что он, возможно, немного потворствовал ему вследствие несомненно странного, безумного увлечения нежностью, с которой человеческий ум, даже энергичный, иногда сопереживает любой эмоции, как романтической, так и мистической. В такие моменты неохотно, – никто не думает, что это может быть страшно – но мы пытаемся найти чарующую силу, которая покажет, что с течением времени нас всех, удивленных, впустят в туманное преддверие духовного мира.

Пьер теперь, казалось, отчетливо чувствовал в себе две противоречивых силы, одна из которых просто боролась в его сознании, и каждая из которых боролась за господство; и между их одновременным финальным восхождением он решил, что в состоянии осознать, пусть и не пророчески, свою способность стать единственным судьей. Одна предлагала ему покончить со всем при помощи эгоистичного уничтожения письма, поскольку неким темным путем его прочтение безвозвратно запутало бы его судьбу. Другая предлагала ему отклонить все опасения; не потому, что для них не было никакого возможного основания, а потому, что отклонить их было бы более мужественно, если не брать в голову то, что может случиться. Этот хороший ангел, казалось, мягко говорил – Прочитай, Пьер, и если даже чтение сможет запутать тебя, ты все же таким путем сможешь распутать другое. Прочитай и почувствуй, что больше всего счастлив тот, кто, проникнувшись исполнением всех обязанностей, останется к счастью равнодушным. Плохой ангел вкрадчиво дышал – Не читай его, мой дорогой Пьер, а разорви его и будь счастлив. Затем от взрыва его благородного сердца плохой ангел канул в небытие, а хороший начал вырисовываться всё яснее и яснее, возвысившись и почти приблизившись к нему, улыбаясь печально, но благожелательно; в то время, как издалека, минуя бесконечные расстояния, замечательные гармонии пробрались к нему в сердце, да так, что каждая вена запульсировала в нем, словно некий небесный свод.

V

«Имя в конце этого письма будет совершенно необычным для тебя. До настоящего времени мое существование было совершенно неизвестно тебе. Это письмо тронет тебя и причинит тебе боль. Я хотела бы уберечь тебя, но не могу. Мое сердце это мой свидетель, который заставляет меня думать, что если бы эти выстраданные строки, передаваемые тебе, могли бы в самой слабой степени сравниться с этими мыслями, то я навсегда отказалась бы от них.

«Пьер Глендиннинг не единственный ребенок твоего отца; в глазах солнца, силы, которая ведет его, я являюсь твоей сестрой; да, Пьер, Изабель называет тебя ее братом – её братом! о, это самое сладкое из слов, о котором я так часто размышляла наедине с собой и едва ли не считала богохульным для такого изгоя, как я, так говорить или думать. Дражайший Пьер, мой брат, дитя моего собственного отца! ты – воплощение ангела, поскольку сможешь перепрыгнуть через все бессердечия и нравы окружающего мира, который назовет тебя глупцом, глупцом, глупцом! И проклянет ли он тебя, если ты уступишь этому небесному импульсу, единственному, что может принудить тебя ответить на долгую тиранию и теперь, наконец, утолить неутолимую тоску моего разорванного сердца? О, брат мой!

«Нет, Пьер Глендиннинг, я буду горда с тобой. Не позволяй моему несчастью погасить во мне благородство, которое я унаследовала наравне с тобой. Ты не должен быть обманут ни моими слезами и моим мучением, ни чем-либо другим, в чем ты будешь раскаиваться в твой самый трезвый час. Не читай далее. Если это подходит тебе, сожги это письмо; так ты избежишь определенности в этих знаниях, которые, если ты теперь воплощение холода и эгоизма, могут после этого в некоторых зрелых суждениях, полных раскаяния, и в несчастливый час, вызвать у тебя острую укоризну. Нет, я не буду, я не буду просить тебя. – О, мой брат, мой дорогой, дорогой Пьер, – помоги мне, прилети ко мне; посмотри, я погибаю без тебя; – печально, печально, – но я замерзаю здесь в огромном, огромном мире; – никакому

отцу, никакой матери, никакой сестре, никакому брату, никакому живому существу в ясной человеческой форме я не дорога. Нечего больше, ничего больше, дорогой Пьер, не могу я вынести ради того, чтобы стать изгоем в мире, за который умер дорогой Спаситель. Прилети ко мне, Пьер; – нет, я смогла бы порвать то, что я теперь пишу, – поскольку я порвала столько других листов, написанных для твоих глаз, которые никогда не достигли тебя, потому что из-за своей растерянности я не знала, ни как написать тебе, ни что тебе сказать; и потому снова смотри, как я брежу.

«Ничего больше; я не напишу ничего больше, – тишина становится могилой, – сердечная болезнь надвигается на меня, Пьер, брат мой.

«Я недостаточно хорошо понимаю, что я написала. Я все же напишу тебе фатальную строку и сообщу тебе все остальное, Пьер, мой брат. – Та, которую зовут Изабель Бэнфорд, живет в небольшом красном сельском доме, в трех милях от деревни, на береговом склоне озера. Завтра в сумерки – не прежде – не днем, не днем, Пьер.

VI

Это письмо, написанное женской, но неровной рукой, в некоторых местах почти неразборчивое, явно свидетельствовало о состоянии ума того, кто продиктовал его, – запятнанное, а также, тут и там, с пятнами слез, которые, взаимодействуя с чернилами, приняли странный красноватый оттенок – как будто кровь, а не слезы пали на лист, – и поэтому совершенно порванное надвое собственной рукой Пьера, которому оно действительно показалось подходящим посланием от надорванного, а также чувствительного сердца; – это было удивительное письмо, что отстраненный Пьер с течением времени всё ясней и определённой осознавал и ощущал. Он полуживой свисал на своем стуле; его рука, схватившая письмо, была прижата к сердцу, как будто некий убийца нанес ему удар и сбежал; и теперь Пьер придерживал кинжал в ране, чтобы остановить кровотечение.

Да, Пьер, теперь действительно искусно нанесенная тебе рана никогда не будет полностью излечена, кроме как на небесах; для тебя, встретившегося с подозрительной моралью, красота мира исчезнет навсегда; для тебя твой священный отец больше не святой; вся яркость пошла от ваших холмов и весь мир от ваших равнин; и теперь, теперь, впервые, Пьер, Правда катит черной лавиной через твою душу! Ах ты, несчастный, чью Правду, в её первых потоках, никто, кроме медведей не способен одолеть!

Различимые формы вещей, оформленные мысли, биение жизни, медленно, но возвращались к Пьеру. И как моряк, потерпевший кораблекрушение и выбравшийся на пляж, в большой суматохе стремится избежать отката волны, что выбросила его; поэтому Пьер все силился и силился избежать обратного удара того мучения, которое выбило его из себя и швырнуло на обморочный берег.

Но человек не поддался горечи Зла. Молодость не опытна и сражается понапрасну. Ошеломленный Пьер встал; его большие глаза застыли, и вся его фигура дрожала.

«По крайней мере, я сам остался», – пробормотал он медленно, и наполовину задохнувшись. «Я сам встану перед тобой! Отпустите меня, все страхи, и отпустите меня все чары! Впредь я буду знать только Правду; счастливую Правду или печальную Правду; я буду знать, что к чему, и сделаю то, что предписал мой самый проникновенный ангел. – письмо! – Изабель, – сестра, – брат, – я, мне – мой священный отец! – Это мечта попала в точку! – нет, но эта бумага подделана, – основательная и злонамеренная подделка, я клянусь, – ты хорошо поступил, скрыв свое лицо от меня, ты, мерзкий посыльный с фонарем, который действительно обратился ко мне на пороге Радости, с этим лежащим здесь свидетельством Зла! Разве Правда не приходит в темноте, и не овладевает нами, и впоследствии не грабит нас, а затем не бежит ли, оставаясь глухой ко всем последующим мольбам? Судьба, разве этой ночью, которая теперь обволакивает мою душу точно так, как теперь окружает эту половину мира, я могу выбрать ссору с тобой? Ты искусна в уловках и обмане; ты выманиваешь меня из-за веселых садов

к заливу. О! Меня, ложно ведомого в дни моей Радости, теперь действительно ведут этой ночью моего горя? – Я буду энтузиастом, и никто не остановит меня! Я подниму руку в ярости, разве я не поражен? Мне будет горько дышать, разве тут не было чаши с желчью? Ты – Черный рыцарь, который с опущенным забралом противостоит мне и удерживает меня; Ло! Я разобью твой шлем, и увижу твое лицо, даже если это лицо Горгоны! – Позволь мне уйти, ты, основа переживаний; все благочестие оставило меня; – я буду нечестив из-за благочестия, манипулировавшего мной и учившего меня уважать то, что я должен был отвергнуть. Со всех идолов я сорву все завесы; впредь я увижу скрытое и переживу его прямо внутри самого себя! – Теперь я чувствую, что только Правда может сдвинуть меня. Это письмо не подделка. О! Изабель, ты моя воплощенная сестра, и я буду любить тебя и защищать тебя, да, и пронесу тебя через все. Ах! простите мне, вы, небеса, мой нечестивый бред и примите эту мою клятву. – Здесь я клянусь самой Изабель. О! Ты бедная брошенная девочка, которая в одиночестве и мучении долго вдыхала тот же самый воздух, который я вдыхал только с восхищением; ты, кто должна даже сейчас рыдать и плакать, брось в океан неуверенность относительно своей судьбы, которую небеса вложили в мои руки; милая Изабель! Разве я стал бы крепче, чем медь, и тяжелее, и холоднее, чем лед, если бы смог остаться бесчувственным к твоим просьбам? Ты движешься передо мной в радужных лентах своих слез! Я вижу твой долгий плач, и Бог требует от меня для тебя утешения; и утешит себя, и поддержит тебя и сражаться за тебя будет твой внезапно признанный брат, которого твой собственный отец назвал Пьером!»

Он не мог оставаться в своей комнате: дом вокруг него съежился до размеров ореховой скорлупы; его лоб бился о стены; без шапки он сорвался с места и только в бесконечном воздухе нашел свободу для безграничного пространства своей жизни.

ТВОЯ СЕСТРА ИЗABELЬ»

Книга IV

Ретроспектива

I

По жизни, в своей точной последовательности и тонкой причинной связи самые сильные и пламенные эмоции бросают вызов всякому аналитическому восприятию. Мы видим облако и чувствуем грохот; но метеорология лишь лениво проводит критическое расследование того, как это облако стало заряженным, и почему этот грохот так ошеломляет. Писатели-метафизики признаются, что самое впечатляющее, внезапное, и подавляющее событие, равно как и мельчайшее, является всего лишь продуктом бесконечной череды бесконечно запутанных и не отслеженных предшествующих случайностей. Именно так обстоят дела и с каждым движением сердца. Почему эти щеки пылают благородным восторгом, почему эта губа презрительно загибается; эти вещи не вполне правильно приписывать очевидной причине, которая является только одним звеном в цепи; но в длинной цепи зависимостей её дальнейшее участие теряется где-то в глубине пространств, заполненных неошутимым воздухом.

И теперь бессмысленно будет пытаться каким-либо извилистым путем проникнуть в сердце, память, сокровенную жизнь и натуру Пьера, чтобы узнать, почему все так произошло. И если показать на примере интеллекта, как при естественном ходе вещей многие любезные господа, и молодые, и старые, познают и воспринимают что-то с мгновенным чувством удивления, а затем проявляют некоторое любопытство, чтобы узнать больше, то тогда, наконец, со всей беззаботностью надо попытаться показать, что именно скатилось на душу Пьера, как расплавленная лава, и оставило настолько глубокое опустошение, что все его последующие усилия так и не вернули первоначальные храмы земле и не восстановили полностью весь цвет его похороненной культуры.

Но некоторых случайных намеков может быть достаточно, чтобы немного поубавить такие странности, как бурный настрой, в который его бросило столь малое письмо.

Вот так долго держалась святыня в обрамленном вечнозеленой листвой сердце Пьера, к которой он поднимался, оставив множество памяток на каждом шагу, и вокруг которых он ежегодно развешивал свежие венки сладкой и святой привязанности. Созданная в прошлом одной такой зеленой беседкой, столь последовательно исполненная согласно жертвенному обету его существа, эта святыня и казалась, и действительно была местом для празднования радостного события, а не для каких-либо печальных обрядов. Но даже у укутанной и увитой венками, у этой святыни имелся мраморный столб, который считался твердым и вечным, и с чей вершины ниспадали неисчислимые рельефные свитки и ветви, которые держались на всем этом одноколонном храме его праведной жизни подобно тому, как в некоторых красивых готических молельнях один центральный столб, словно ствол, поддерживает крышу. В этой святыне, в нише этого столба стояла прекрасная мраморная фигура его покойного отца – незапятнанная, безоблачная, белоснежная и безмятежная, столь любимое Пьером воплощение совершеннейшего, достойнейшего и прекраснейшего человека. Перед этой святыней Пьер обильно изливал большую часть всех почтительных мыслей и верований молодой жизни. Едва ли не к Богу в сердце входил тогда Пьер, поднимаясь по ступеням этой святыни и таким образом создавая преддверие своей малопонятной религии.

После князя Мавсола пусть будет благословен и прославлен в свой могиле тот смертный родитель, который после благородного, чистого жизненного курса умер и был похоронен, словно в избранном источнике, на сыновней груди добросердечного и рассудительного благородного потомка. Поскольку в тот период идеи Соломона еще не влились своими мощными

притоками в незамутненное течение детской жизни, то у этих небесных вод тоже имелось редкое оберегающее достоинство. Все брошенные в этот фонтан сладкие воспоминания превращаются в мрамор, да так, что все недолговечное становится вечным и неизменным. Так, иногда воды в Дербишире замирают перед птичьими гнездами. Но если судьба долго хранит отца, то слишком часто его похороны для сына оказываются менее прочувствованными, а для наследника канонизация покойного становится не столь желательна. Раскрыв глаза, мальчик ощущает или неосознанно полагает, что ощущает, небольшие пятнышки и недостатки в характере того, кого он некогда абсолютно почитал.

Когда Пьеру было двенадцать лет, его отец умер, оставив о себе, согласно общепринятому мнению, отменную репутацию джентльмена и христианина, в сердце своей жены – свежую память о многих здоровых днях безоблачной и радостной супружеской жизни, а в сокровенной душе Пьера – впечатление от редкой физической мужественной красоты и доброты, с которой могла соперничать только воображаемая прекрасная форма, в которой было отлито его добродетельное сердце. В задумчивые вечера, при жарком зимнем огне, или летом, на южной веранде, когда эта мистическая ночная тишина, столь характерная для деревни, вызывала в сознании Пьера и его матери длинную вереницу изображений прошлого, авангардом всей этой духовной процессии величественно и благочестиво выступала почитаемая персونا покойного мужа и отца. Тогда их разговоры уходили в воспоминания и становились серьезными, но сладкими; и снова, и снова, глубоко и еще глубже, в душе Пьера отпечатывалось заветная мысль, что его добродетельный отец, такой прекрасный на земле, был теперь столь же непогрешимо праведен на небе. Столь тщательно и, в определенной степени, уединенно взлелеянный Пьер, хоть и достигший теперь возраста девятнадцати лет, никогда еще полностью не приобщался к тому более темному, хотя и более истинному положению вещей, которое в городской среде с самого раннего периода жизни почти неизбежно оставляет отпечаток в уме любого проныцательного, наблюдательного и мыслящего молодого человека одних с Пьером лет. Поэтому до того времени в его груди все оставалось, как было; и для Пьера святость его отца казалась безупречной и пока еще нетронутой, как мрамор из Аримафеи на его могиле.

Сочтя тогда всё опустошающим и испепеляющим взрывом, Пьер, в одну ночь лишил свою самую священную святыню всех возложенных цветов и тихо похоронил статую святого под руинами повергнутого храма своей души.

II

Насколько пышно растет виноградная лоза, и виноград своим багрянцем закрывает крепостные стены и надульники пушек Эренбрайтштайна, настолько же самые сладкие радости жизни растут в самых опасных её челюстях.

Но действительно, разве в жизни из-за всеобщего языческого легкомыслия мы, бенефициарии проступков, не бываем столь глупы и увлечены, что считаем нашей самой сильной стороной восхищение, появившееся всего лишь вследствие капризного события – падения листьев, звука голоса или одного маленького бумажного квитка с некими нацарапанными острым пером маленькими знаками? Поэтому мы совершенно не беспокоимся, что эта шкатулка, куда мы поместили нашу самую священную и самую последнюю радость, и которую мы снабдили невероятно хитрым замком, может быть извлечена и осквернена прикосновением самого простого незнакомца, пока мы полагаем, что только мы одни держим её под единственным и избранным контролем?

Пьер! Ты воплощение глупости; восстанови – нет, не так! для тебя святыня все еще стоит; она стоит, Пьер, твердо стоит; ничуть тобой не обеспокоенная, поддерживающая цветок? Такое письмо, как твое, можно довольно легко написать, Пьер; самозванцы известны в этом любопытном мире или же шустрый романист, Пьер, напишет тебе пятьдесят таких записок и тем самым выдавит фонтан слез из глаз своего читателя, как раз когда ты заметил, как странным

образом его собственные мужественные глаза стали такими сухими; такими остекленевшими и такими сухими, Пьер – глупый Пьер!

О! не дразните сердце кинжалом. Человек, которому наносят удар, знает, что такое сталь; впустую говорить ему, что это – только щекочущее перо. Он не чувствует внутри глубокую рану? Что делает эта кровь на моем одеянии? и зачем эта острая боль в моей душе?

И здесь снова и весьма обоснованно можно подойти к тем Трём Судьбам, которые трудятся за ткацким станком Жизни. Мы могли бы снова спросить их, что это за нити, о, Вы, Судьбы, соткали в чужих годах, которые теперь столь безошибочно передают Пьеру электрические предчувствия и горечь от осознания того, что его отец больше не святой, и Изабель, действительно, его сестра?

Ах, отцы и матери! всего окружающего мира! Будьте внимательны, – обратите внимание! Вы сейчас мало понимаете силу слов и признаков тех зловещих вещей, на которые намекали и которые в его невинном присутствии вы решили замаскировать. Но теперь он знает, а очень многое даже внешне сознательно замечает; но если в загробной жизни Судьба вкладывает в его руки алхимический зашифрованный ключ, то как же быстро и как замечательно он прочитает все непонятные надписи и большую часть стертых, что найдет он в своей памяти; да, и сам он пороется во всем, что сверху, продвигаясь к еще непрочитанным скрытым письмам. О, самые темные уроки Жизни будут таким способом прочитаны, вся вера в Достоинство будет убита, и юность обретет атеистическое презрение.

Но не так, в целом, обстояло дело с Пьером; все же будет лучше, если в некоторых пунктах это вышеупомянутое искреннее предупреждение окажется вполне уместным.

Его отец умер от лихорадки; и, как весьма часто случается при этой болезни, к своему концу разум его периодически блуждал. В это время незаметно, но искусно, преданные семье слуги оградили его от присутствия жены. Но нежная, сыновняя любовь маленького Пьера всегда влекла его к этой кровати; они учили простодушие маленького Пьера, когда его отец был безумен, и поэтому однажды вечером, когда их тени терялись за занавесками и вся палата притихла, а огонь в очаге улегся в разрушенном храме из замечательных углей, Пьер смутно, но увидел лицо отца. И тогда странный, жалобный, бесконечно жалкий, низкий голос донесся с верного ложа, и Пьер услышал, – «Моя дочь! моя дочь!»

«Он снова бредит», – сказала сиделка.

«Дорогой, дорогой отец!» – рыдал ребенок. – «У тебя нет дочери, но вот твой собственный маленький Пьер»

Но снова непочтительный голос прозвучал в постели, и тут же раздался внезапный, очищающий вопль, – «Моя дочь! – Боже! Боже! – моя дочь!»

Руку ребенка схватил умирающий человек; его рука еле-еле сжалась, но с другой стороны кровати другая рука, также впустую самостоятельно приподнятая, поймала пустоту так, как будто ухватила некие другие детские пальцы. Затем обе руки опустились на простыню, и в мерцающих вечерних тенях маленький Пьер, казалось, увидел, что в то время как рука, которая его держала, покрылась слабым, лихорадочным румянцем, другая, пустая, осталась пепельно—белой, как у прокаженного.

«Это пройдет», – прошептала сиделка, – «он уже не будет бредить дольше, чем до полуночи, – что стало его привычкой». И затем в своем сердце она задалась вопросом, как так случилось, что столь прекрасный джентльмен и такой безукоризненно хороший человек должен столь двусмысленно бредить и с дрожью думать в душе о ком-то таинственном, который, как кажется, не признается человеческой юрисдикцией, и с озлобленностью невинного человека все еще мечтает об ужасном и бормочет о неприличном; и пораженная страхом, ребяческая душа Пьера прониклась родственной близостью, пусть и пока ещё весьма смутно осознанной. Но она принадлежала сферам неощутимого эфира, и ребенок скоро кинулся к другим и более сладким воспоминаниям о нем и закрылся ими; и наконец, все это смешалось со всеми другими

туманными материями и грезами полумрака, и потому, как казалось, не уцелело ни в какой реальной жизни Пьера. Но хотя в течение многих долгих лет белена не распускала свои листья в его душе, брошенное там семя все же осталось: и письмо Изабель, как первый проблеск, словно по волшебству, открыло у него источник силы. Затем снова долго угасающий, жалобный и бесконечно жалкий голос произнес слова, – «Моя дочь! моя дочь!» – сопровождаемые раскаивающимся «Боже! Боже!» И снова к Пьеру впустую протянулась рука, и снова пепельная рука упала.

III

Если скучные судьи с холодными головами в качестве доказательства требуют присяги на Священном Писании, то в теплых залах сердца одной единственной незасвидетельствованной искре памяти будет достаточно возжечь такое пламя доказательств, при котором все углы греховного сознания будут освещены так же внезапно, как загоревшееся в полночь городское здание, каждой из сторон окрасившееся в красный цвет.

С комнатой Пьера сообщался стенной, с круглыми окошками шкаф, куда он всегда имел привычку заходить в те ужасно сладкие часы, когда душа зывала к душе. Войди в одиночество со мной, брат-близнец, и отойди: у меня есть тайна; позволь мне прошептать её тебе в сторонке: в этом шкафу, священном для уединенного Тадмора и периодического отдыха иногда уединявшегося Пьера, на длинных шнурах от карниза висел маленький портрет, написанный маслом, перед которым Пьер много раз недвижимо стоял. Если бы эта картина висела на какой-либо ежегодной общественной выставке, и в свою очередь была бы описана в печати случайно увидевшими её критиками, её, вероятно, описали бы именно так, и это было бы правдиво: «импровизированный портрет прекрасного на вид юного джентльмена с легким нравом. Он беспечно и, на самом деле, не задумываясь, не наблюдаемый никем, уселся или, скорее, на мгновение занял старомодное малаккское кресло. Одна рука придерживает шляпу, трость нетерпеливо брошена на заднюю часть стула, в то время как пальцы другой руки играют с золотой гравировкой часов и ключом. Свободно сидящая голова была повернута боком с необычно ясным и беззаботным, утренним выражением лица. Кажется, что он просто заглянул в гости к хорошему знакомому. В целом, картина эта чрезвычайно умная и веселая, все ясно и бесцеремонно отображающая. Несомненно, это портрет и ничего необычного, и, рискну туманной догадкой, портрет любительский»

Такой ясный и такой веселый в тот момент, такой аккуратный и такой молодой, какой-то особенно здоровый и солидный; что за тонкий элемент мог настолько принизить весь этот портрет, что для жены оригинала он стал несказанно неприятным и отвергаемым? Мать Пьера всегда не любила эту картину, которая, как она всегда утверждала, действительно заметно противоречила облику её мужа. Ее главные воспоминания о покойном не позволяли обрамить его одним-единственным венком. Это не он, – так могла она подчеркнуто и почти с негодованием восклицать, а то и настойчиво заклинять, показав причину такого неблагоприятного мнения почти всем другим знакомым и родственникам покойного. Но портрет, в котором она сочла отдать должное своему мужу, правильно в деталях передав его особенности и, что наиболее важно, самое истинное, самое прекрасное и всё связующее благородное выражение лица, этот портрет был намного большим по размеру и в большой нижней гостиной занимал на стене самое заметное и благородное место.

Даже Пьеру эти две картины всегда казались необычайно разными. И поскольку большая была написана на много лет позже другой, то, следовательно, оригинал в большой степени оказался ближе к его собственным детским воспоминаниям; а поэтому он сам не мог не считать его гораздо более правдивым и живым отображением своего отца. Поэтому простое предпочтение его матери, хоть и сильное, несколько не было для него удивительным, а скорее совпадало с его собственным мнением. И всё же не по этой причине другой портрет был так решительно отклонен. Поскольку на первом месте сказалась разница во времени и некото-

рое различие костюмов, и значительное различие стилей соответствующих художников, и значительное различие в соответствии этих, наполовину отраженных лиц идеалу, который даже в присутствии оригиналов одухотворенный художник скорее подберет, чем напишет прямо с мясистых физиономий, пусть даже блестящих и прекрасных. Кроме того, в то время как большой портрет был портретом женатого человека средних лет и, как казалось, был полностью насыщен молчаливым и отчасти величественным спокойствием, присущим этому состоянию, как никогда удачному, меньший же портрет изображал живого, свободного, молодого бакалавра, способного с радостью расположиться как вверху, так и в низу мира, беззаботного и, возможно, не очень обольстительного, и с губами, наполненными первой, еще не надоевшей, утренней сочностью и свежестью жизни. Здесь, конечно, стоит проявить большую осторожность в какой-либо искренней оценке этих портретов. Для Пьера это заключение стало почти непреодолимым, когда он самостоятельно поставил рядом два портрета; один был взят из его раннего детства, – одетый и опоясанный мальчик четырех лет; и другой, – взрослый юноша шестнадцати лет. Если исключить все неразрушаемое, что сохранилось в глазах и на висках, то Пьер едва мог признать громко смеющегося мальчика в высоком и задумчиво улыбающемся юноше. «Если несколько лет способны создать такое различие, то почему это не относится к моему отцу?» – думал Пьер.

Помимо всего этого, Пьер изучил историю и, если можно так выразиться, семейную легенду о малой картине. Она была подарена ему на его пятнадцатилетие тетей – старой девой, которая жила в городе и лелеяла память об отце Пьера со всей замечательной неувядающей преданностью, с которой старшая сестра всегда соперничает идее любимого младшего брата, теперь уже умершего и безвозвратно ушедшего. Как только ребенок этого брата, Пьер, стал объектом самого теплого и необыкновенно большого участия со стороны этой одинокой тети, ей привиделось, что, снова превратившись в юношу, он стал очень сходен душой с ее братом и точно унаследовал его наружность. Хотя портрет, как мы сказали, был слишком переоценен ею, все же долгое следование канону ее романтической и образной любви, утвержденной портретом, должно было длиться до тех пор, пока Пьер – поскольку Пьер был не только единственным ребенком своего отца, но и его тезкой – пока Пьер не станет достаточно взрослым, чтобы правильно понять святость и бесценность сокровища. В соответствии с этим она послала портрет ему, поместив в тройную коробку и, наконец, укрыв водонепроницаемой тканью; и он был доставлен в Оседланные Луга особым, тайным посыльным, старым досужим джентльменом, когда-то ею покинутым, потому что отверг процесс ухаживания, но теперь уже ставшим удовлетворенным и болтливым соседом. С этого времени перед миниатюрой из слоновой кости с золотой крышкой и золотой рамкой – братским подарком – тетя Доротея посвящала свое утро и свои вечерние обряды памяти самого благородного и самого солидного из её братьев. Все же ежегодное посещение Пьером стенного шкафа – совсем не легкое обязательство для того, кто слабеет с годами и слабеет от любого пути – настолько свидетельствовало о серьезности этого сильного чувства долга, что отказ добровольно расстаться с драгоценным мемориалом сам по себе оказывался весьма болезненным.

IV

«Расскажи мне, тетя», – так впервые спросил её маленький Пьер, задолго до того, как портрет стал ему принадлежать – «расскажи мне, тетя, как этот портрет на стуле, как ты его называешь, был написан, – кто написал его? – чей был этот стул? – этот стул теперь у тебя? – Я не вижу его здесь, в твоей комнате, – почему папа смотрит так странно? – Я хотел бы теперь узнать, о чем тогда папа думал. Теперь, дорогая тетя, расскажи мне все об этой картине, чтобы, когда она будет моей, как ты обещаешь, я знал всю её историю»

«Тогда присядь, веди себя как можно тише и будь внимательным, мое дорогое дитя», – сказала тетя Доротея, одновременно повернув голову, дрожа и пытаясь разыскать свой карман,

пока маленький Пьер не вскричал: «Тетя, разве история картины не описана в какой-нибудь из маленьких книжек, которые ты пытаешься вынуть и прочитать?»

«Где мой носовой платок, дитя мое?»

«Вот, тетя, он здесь под твоим локтем; здесь, на столе; здесь, тетя; возьми его, возьми.

О не говори сейчас о картине; я не буду слушать»

«Останься, мой дорогой Пьер», – сказала его тетя, взяв носовой платок, – «задерни немного занавес, мой дорогой; свет вредит моим глазам. Теперь подойди к шкафу и принеси мне мой темный платок, – запасись терпением... Вот спасибо, Пьер; теперь снова присядь, и я начну... Картина была написана давно, дитя мое; ты тогда еще не родился»

«Не родился?» – вскричал маленький Пьер.

«Не родился», – сказала его тетя.

«Ну, продолжай, тетя; но не говори мне снова, что когда-то давно я был не маленьким Пьером вообще, а мой отец уже жил. Продолжай, тетя, – да, продолжай!»

«Зачем ты так нервничаешь, дитя мое, – будь терпелив; я очень стара, Пьер, а старики всегда не любят торопиться»

«Теперь, моя родная дорогая тетя Доротея, действительно прости мне это один раз и продолжай свою историю»

«Когда твой бедный отец был настоящим молодым человеком, мой мальчик, он во время одного из своих долгих осенних визитов к своим друзьям в этом городе состоял в доверительном общении со своим кузеном, Ральфом Уинвудом, который был его ровесником, – тот тоже был прекрасным юношей, как и Пьер»

«Я никогда не видел его, тетя; скажи, где он теперь?» – прервал Пьер; – «он теперь живет в деревне, как мама и я?»

«Да, дитя мое; но это далекая, красивая деревня, я полагаю, – он находится на небесах, я уверена»

«Умер», – вздохнул маленький Пьер – «продолжай, тетя».

«Тогда кузен Ральф очень любил живопись, дитя мое, и он провел множество часов в комнате, кругом завешенной картинами и портретами; и там у него были свой мольберт и кисти; и он очень любил рисовать своих друзей и развешивать их портреты у себя дома на стенах так, чтобы, находясь в полном одиночестве, у него все же была большая компания, которая навсегда оставалась средой их наилучшего самовыражения в его отношении и никогда не раздражала его, никогда не сталкивалась с ним и не злила, маленький Пьер. Часто он умолял твоего отца посидеть у него, говоря, что его тихий круг друзей никогда не будет полон, если бы твой отец не согласился присоединиться к нему. Но в те дни, мой мальчик, твой отец всегда находился в движении. Мне было трудно заставить его оставаться на месте, в то время я вязала ему шейный платок; поэтому он никогда не приезжал ни к кому, кроме меня. Таким образом, он всегда откладывал и откладывал посещение кузена Ральфа. „Как-нибудь в другое время, кузен; не сегодня; – возможно, завтра, – или на следующей неделе“; – и так, наконец, кузен Ральф впал в отчаяние. Но я все-таки поймаю его, вскричал хитрый кузен Ральф. Таким образом, он уже больше ничего не сказал твоему отцу о его портрете, но каждое утро выкладывал свой мольберт, кисти и все необходимое, чтобы быть готовым к первым мгновениям визита твоего отца, если тот сейчас или позже, но все же заглянет к нему во время своих долгих прогулок, поскольку у твоего отца была привычка время от времени наносить мимолетные ответные визиты кузену Ральфу в его мастерскую. – Ну, дитя мое, теперь ты можешь раздвинуть занавес – здесь, как мне кажется, становится очень мрачно.»

«Ну, я так все время и думал, тетя», – сказал маленький Пьер, повинувшись, – «но не сделаю, поскольку ты говоришь, что свет вредит твоим глазам»

«Но не сейчас, маленький Пьер»

«Ну, хорошо; продолжай, продолжай, тетя; ты не можешь представить, насколько мне интересно», – сказал маленький Пьер, придвигая свой табурет вплотную к стеганой атласной кромке платья его славной тети Доротеи.

«Да, мой мальчик. Но сначала позволь мне сказать, что в это время в порт прибыл корабль, каюты которого были наполнены французскими эмигрантами – бедными людьми, Пьер, которые были вынуждены уехать из своей родины из-за суровых, кровопролитных событий. Но ты прочитал обо всем этом в небольшой истории, которую я давно давала тебе»

«Я всё это знаю: Французская революция», – сказал маленький Пьер.

«Ты же известный маленький ученый, мой дорогой мальчик», – сказала Тетя Доротея, слабо улыбувшись – «среди этих бедных, но благородных эмигрантов была красивая молодая девушка, печальная судьба которой позже создала большой шум в городе и заставила глаза многих людей заплакать, но напрасно, поскольку о ней никогда больше не было слышно»

«Как? как? Тётя, – я не понимаю, – она тогда исчезала, тетя?»

«Я оказалась почти перед началом моей истории, мальчик. Да, она действительно исчезла, и о ней никогда больше не слышали; но это было позже, некоторое время спустя, дитя мое. Я очень уверена, что так было; могу в этом поклясться, Пьер»

«Да ведь, дорогая тетя», – сказал маленький Пьер, – «как искренне ты говоришь – после чего? Твой голос становится очень странным; давай теперь не говорить так; ты очень пугаешь меня, тетя»

«Возможно, что виной тому – сильный насморк, который у меня сегодня; я боюсь, Пьер, что он делает мой голос немного хриплым. Но я снова попытаюсь не говорить так хрипло. Ну, дитя мое, за некоторое время до того, как эта красивая девушка исчезла, и после того, как бедные эмигранты высадились, твой отец завел с ней знакомство и со многими другими чело-веколюбивыми господами города решил узнать, чего хотят иностранцы, поскольку они действительно были очень бедны, лишены какого-либо имущества и берегли небольшие пустяковые драгоценности, с которыми невозможно было уехать подальше. Наконец, друзья твоего отца попытались отговорить его от посещения этих людей, так как они боялись, что поскольку девушка была очень красива и немного склонна к интрижке – так говорили некоторые – твой отец мог бы жениться на ней, что было бы не самым мудрым решением для него; поскольку, хотя девушка, возможно, была очень красивой и доброй, все же никто на этом берегу океана, конечно, не знал её достоверную историю, а она была иностранкой; и никто не стал бы настолько подходящей и превосходной партией, достойной твоего отца, какой стала позже твоя дорогая мать, мой мальчик. Но, что касается меня, то я та, кто всегда очень хорошо знала обо все намерениях твоего отца, и он также очень доверял мне, – я же, со своей стороны, никогда не считала, что он поступил бы столь неблагоприятно, а именно, женился бы на странной молодой леди. Во всяком случае, он, наконец, прекратил свои визиты к иммигрантам; и это произошло после этого, как девушка исчезла. Некоторые рассказывали, что она, должно быть, добровольно, но тайно вернулась в свою собственную страну, а другие заявляли, что она, должно быть, была похищена французскими эmissарами, из-за чего, после ее исчезновения, стали появляться слухи, что она была самого благородного происхождения и состояла в некотором родстве с королевской семьей; и тогда снова некоторые мрачно качали своими головами и бормотали о случаях утопления и других темных делах, на что всегда слышатся намеки, когда люди исчезают, и никто не может их найти. Но, несмотря на то, что твой отец и многие другие господа сделали все возможное, чтобы найти ее след, все же, как я рассказала прежде, мой мальчик, она никогда больше не появлялась»

«Бедная французская леди!» – вздохнул маленький Пьер. – «Тетя, я боюсь, что она была убита»

«Бедная леди, и о ней ничего не известно», – сказала его тетя. – «Но послушай, поскольку я снова подхожу к картине. Тогда, в то время, когда твой отец так часто навещал эмигрантов,

мой мальчик, кузен Ральф был одним из тех, кто мало представлял себе, что твой отец ухаживал за нею; но кузен Ральф, будучи тихим молодым человеком и человеком образованным, плохо понимал, что мудро, а что глупо в большом мире; кузена Ральфа вообще не задело бы, если бы твой отец действительно женился на молодой беженке. В пустых размышлениях о том, что твой отец ухаживал за ней, – как я рассказала тебе – ему казалось, что будет очень здорово, если он сможет нарисовать твоего отца как ее поклонника, то есть, нарисовать его сразу после его ежедневного посещения эмигрантов. Итак, он увидел свою возможность: каждая вещь пребывала в его мастерской в ожидании, как я прежде говорила тебе; и как-то утром, конечно же, твой отец ввалился к нему после своей прогулки. Но прежде чем он вошел в комнату, кузен Ральф проследил за ним из окна; и когда твой отец вошел, у кузена Ральфа был готов разложенный стул, – а задняя часть его мольберта уже была повернута к нему, – и сделал вид, будто очень занят живописью. Он сказал твоему отцу – „Рад видеть тебя, кузен Пьер; я здесь только что начал кое-чем заниматься; пока сядь прямо там и расскажи мне новости; и я вскоре выйду к тебе. И расскажи нам что-нибудь про эмигрантов, кузен Пьер“, – хитро добавил он – желая заполучить бег мыслей твоего отца, отражавших процесс ухаживания, через попытку поймать соответствующее выражение лица, как ты понимаешь, маленький Пьер»

«Я не знаю, точно ли понимаю, тетя; но продолжай, мне так интересно; действительно продолжай, дорогая тетя»

«Ну вот, при помощи множества маленьких хитрых движений и приемов кузен Ральф удерживал твоего отца, сидящего там на стуле, болтающего снова и снова, и бывшего тогда столь простодушным, что никогда не учитывал всего, пока хитрый кузен Ральф рисовал и рисовал столько, сколько смог, и только притворялся, что смеется над остротами твоего отца; короче говоря, кузен Ральф украл свой портрет, мой мальчик»

«Я надеюсь, что не украл его», – сказал Пьер, – «это ведь очень злобное слово»

«Ну, тогда мы не назовем это кражей, так как я уверена, что кузен Ральф держал твоего отца все время в стороне от себя и поэтому не имел возможности рисовать, хотя действительно, он, так сказать, при помощи хитрости написал тот портрет. И если действительно это была кража или нечто подобное, то, все же, видя, сколько радости этот портрет доставил мне, Пьер, и как много он будет значить для тебя, я надеюсь, я думаю, что мы должны всем сердцем простить кузена Ральфа за то, что он тогда сделал»

«Да, я думаю, что, действительно, должны», – вмешался маленький Пьер, сам теперь нетерпеливо рассматривая портрет, который висел над мантией.

«Ну, поймав таким способом твоего отца два-три раза и более, кузен Ральф, наконец, закончил картину; и когда он заключил её в раму, и все труды закончились, то удивил бы твоего отца, смело повесив портрет в своей комнате среди других своих портретов, если бы однажды утром твой отец внезапно не пришел к нему – как раз в тот момент, когда, действительно, сама картина была уложена на столе изображением вниз, и кузен Ральф прикреплял к ней шнур – пришел к нему и напугал кузена Ральфа, спокойно сказав, что, оказывается, то, что он думал о нем, было неспроста, и что кузен Ральф подшучивает над ним; но он надеется, что это не так. «Что ты имеешь в виду?» – немного взволнованно сказал кузен Ральф. «Разве ты здесь не повесил мой портрет, кузен Ральф?» – сказал твой отец, разглядывая стены. – «Я рад, что не вижу его. Это – моя прихоть, кузен Ральф, – и, возможно, что очень глупая, – но если ты недавно написал мой портрет, то я хочу, чтобы ты уничтожил его; во всяком случае, не показывай его никому, держи подальше от людских глаз. Что у тебя там, кузен Ральф?»

«Кузен Ральф теперь еще больше затрепетал, не зная, что делать – как и я по сей день – из-за странного поведения твоего отца. Но он нашелся и ответил – «Это, кузен Пьер, секретный портрет, который я написал здесь; ты должен знать, что нам, портретистам, иногда предлагают написать такое. Поэтому я не могу показать его тебе или сказать о нем что-либо»

«Ты писал мой портрет или нет, кузен Ральф?» – спросил твой отец, весьма внезапно и остро.

«Я не нарисовал ничего, кроме того, что ты здесь видишь», – уклончиво сказал кузен Ральф, как будто заметив на лице твоего отца жестокое выражение, которого он никогда не видел прежде. И ничего больше твой отец не смог от него добиться»

«И почему?» – сказал маленький Пьер.

«Потому он не смог добиться большего, мой мальчик, – потому, что твой отец ни разу не уловил и проблеска той картины; воистину, так и не узнав наверняка, существует ли такая картина вообще. Кузен Ральф тайно отдал её мне, зная, как я нежно любила отца, торжественно потребовав от меня обещания никогда не выставлять её там, где твой отец мог бы случайно увидеть её или как-то услышать про неё. Это обещание я искренне сдержала и только после смерти твоего дорогого отца повесила её в своей комнате. Итак, Пьер, у тебя теперь есть история портрета на стуле»

«...Одного из очень необычных портретов», – сказал Пьер, – «и история настолько интересная, что я никогда не забуду её, тетя»

«Я надеюсь, что никогда не забудешь, мой мальчик. Теперь позвони в звонок, и у нас будет маленький кекс с цукатами и орехами, а я возьму стакан вина, Пьер, – ты слышал, мой мальчик? – звони – звони ему. Зачем ты встал там, Пьер?»

«Разве папа не хотел, чтобы кузен Ральф написал свою картину, тетя?»

«До чего же скоры эти детские умы!» – воскликнула старая тетя Доротея, в изумлении разглядывая маленького Пьера – «Это действительно даже больше, чем я могла сказать тебе, маленький Пьер. Но у кузена Ральфа была такая глупая мечта. Он успел рассказать мне, что, находясь в комнате твоего отца спустя несколько дней после последней сцены, которую я описала, обнаружил там весьма примечательную работу по физиогномике, как её называют, в которой были определены самые странные и самые темные законы для распознавания самых глубоких тайн при изучении человеческих лиц. И поэтому глупому кузену Ральфу всегда льстило, что причиной отказа твоего отца брать его портрет состояла в том, что он тайно любил французскую девушку и не хотел, чтобы его тайна отражалась в портрете; с тех пор, как замечательная работа по физиогномике появилась у него, он инстинктивно не хотел рисковать. Но кузен Ральф был столь отстраненным и исключительным молодым человеком, что у него всегда имелись подобные любопытные причуды. Со своей стороны я не думаю, что у твоего отца когда-то были какие-либо нелепые идеи на этот счет. Безусловно, я сама не могу сказать тебе..., почему... он не хотел делать портрет, но когда ты станешь столь же взрослым, как я, маленький Пьер, ты обнаружишь, что все, даже лучшие из нас время от времени склонны действовать очень странно и необъяснимо; действительно, мы не можем полностью объяснить причину некоторых своих действий даже самим себе, маленький Пьер. Но вскоре ты узнаешь всё об этих странных делах»

«Надеюсь, что узнаю, тетя», – сказал маленький Пьер. – «Но, дорогая тетя, я подумал, разве Мартен не должен был принести маленький кекс с цукатами и орехами?»

«Тогда позвони ему в звонок, дитя моё»

«О! Я забыл», – сказал маленький Пьер, выполнив ее указания

Вскоре тетя уже потягивала свое вино, а мальчик поедал свой пирог, и обе пары их глаз уставились на портрет; маленький Пьер, пододвинув свой табурет поближе к картине, воскликнул: «Теперь, тетя, она действительно точно походит на папу? Ты когда-нибудь видела его в этом самом блестящем жилете и огромном фигурном галстуке? Я вполне неплохо помню печать и ключ, и лишь неделю назад я видел, что мама вынула их из небольшого запертого ящика в своем гардеробе – но я не помню ни странных бакенбардов, ни жилета цвета буйво-

ловой кожи, ни огромного белого галстука; ты когда-либо видела папу в этом самом галстуке, тетя?»

«Мой мальчик, это я выбрала материал для этого галстука; да, и обшила его, и вышила „П. Г.“ в одном углу, но этого нет на картине. Тут абсолютное сходство, дитя мое, галстук и все; как он выглядел в то время. Да ведь маленький Пьер, иногда я сижу здесь в полном одиночестве, гляжу, гляжу и гляжу на это лицо, пока не начинаю думать, что твой отец смотрит на меня и улыбается мне, и кивает мне, и говорит – Доротея! Доротея!»

«Как странно», – сказал маленький Пьер, – «я думаю, что он теперь начинает смотреть на меня, тетя. Прислушайся! тетя, тут настолько тихо повсюду в этой старомодной комнате, что я думаю, будто слышу слабый звон от картины, вроде того, как крышка часов ударяется о ключ – Прислушайся, тетя!»

«Благослови меня Бог, не говори так странно, дитя моё»

«Я слышал, как мама сказала однажды – но не мне – что ей не понравилась картина тети Доротеи из-за плохого сходства, так она выразилась. Почему маме не нравится картина, тетя?»

«Мой мальчик, ты задаешь очень странные вопросы. Если твоей маме не нравится картина, то по очень простой причине. У нее дома есть картина намного больше и прекрасней, которую она написала для себя; да, и заплатила, я не знаю, сколько сотен долларов за неё; и она также обладает абсолютным сходством, ... вот что ... должно быть причиной, маленький Пьер»

После чего старая тетя и маленький ребенок замолчали, каждый с удивлением подумал о своем, и оба увидели еще более странную картину; и лицо на картине все еще смотрело на них открыто и бодро, как будто ничего не тая, и, опять-таки, немного двусмысленно и насмешливо, как будто хитро подмигивая некоей другой картине, словно заметив очень глупую старую сестру и совсем несмышленного маленького сына, ставших столь чудовищно серьезными и созерцательными из-за огромного фигурного белого галстука, жилета цвета буйволовой кожи и весьма благородного и дружелюбного лица.

Итак, после этой сцены, как обычно, один за другим, быстро пронеслись годы, пока маленький мальчик Пьер не превратился в высокого господина Пьера и не смог назвать картину своей собственной; и теперь, уединившись в своем собственном маленьком шкафу, он мог стоять или склониться, или сидеть перед ней весь долгий день, если ему нравилось, и продолжать думать и думать, думать и думать, пока вскоре все мысли не размывались и, наконец, не исчезали вообще.

Картину послали ему перед его пятнадцатилетием, что произошло только благодаря невнимательности его матери или, скорее, случайному попаданию в комнату Пьера, который, так или иначе, знал, что его мать не одобрит портрет. Ведь тогда Пьер был еще молод, а картина изображала его отца, и хранила достояние самой прекрасной и нежно любимой, благородной тети; поэтому мать с интуитивной деликатностью воздержалась от сознательного выражения своего особого мнения в присутствии маленького Пьера. И эта разумная, хотя и наполовину бессознательная терпимость матери, была, возможно, в некоторой степени, особенным и подобающим ответом на чувства ребенка. Дети с естественной чистой организацией и нежной подпиткой иногда обладают замечательной и часто неподдельной утонченной деликатностью, заботой и снисходительностью в вопросах почитания тонкостей даже в большей степени в сравнении со старшими и лучшими самовыдвиженцами. Маленький Пьер никогда не раскрывал своей матери, что он от другого человека узнал про ее мысли относительно портрета тети Доротеи; он, казалось, обладал интуитивным знанием обстоятельств, при которых из-за различий в их отношении к его отцу и по другим мелким причинам ему было бы уместней некоторые детали отцовской жизни выяснить у своей тети, а не у своей матери, особенно касаясь портрета на стуле. И аргументы тети Доротеи, объясняющие отвращение его матери, долгое время вполне удовлетворяли его, или, по крайней мере, довольно хорошо все объясняли.

И когда портрет прибыл в Луга, оказалось, что его мать была в отъезде, и поэтому Пьер молча повесил его в своем шкафу; и после того, как день или два спустя его мать вернулась, он ничего не сказал ей о его прибытии, все еще странно осознавая это бесспорную тихую тайну, которая окружала его, и чью святость он теперь боялся нарушить, вызвав какое-либо обсуждение его матерью подарка тети Доротеи или разрешив себе быть неуместно любопытным относительно личных причин его матери, имевшей свое мнение о нем. Но в один из дней – и это было вскоре после прибытия портрета – он узнал о том, что его мать открывала его шкаф; затем, когда он увидел ее, он был готов услышать то, что она должна была добровольно сказать о последнем дополнении в виде такого украшения; но поскольку она опустила все упоминания на эту тему, то он незаметно наблюдал за ее самообладанием, надеясь обнаружить хоть какое-то облако эмоций. Но он ничего не смог разглядеть. И поскольку в их характерах сосредоточились все подлинные тонкости, то благодаря одной лишь почтительной, взаимной, но молчаливой воздержанности матери и сына, развитие событий было остановлено. И это было еще одной их сладостью и святостью, и священной связью друг с другом. Поскольку, независимо от того, что некоторые влюбленные могут иногда сказать, любовь всегда сопровождается тайной, подобно тому, как природа, согласно известному выражению, не терпит пустоты. Любовь построена на тайнах, как прекрасная Венеция на невидимых и неразрушаемых морских сваях. Любовные секреты, будучи тайнами, всегда принадлежат необыкновенному и бесконечному, и поэтому они, по сути, и есть воздушные мосты, благодаря которым наши далекие тени попадают в места золотых туманов и испарений, откуда происходят все поэтические, прекрасные мысли, что выпадают на нас, как жемчуг из радуги.

С течением времени целомудрие и чистота этого взаимного оберега служили только тому, чтобы оформить портрет с большим изяществом, сделав его очарование еще более таинственным, и чтобы разбросать, на самом деле, свежий фенхель и розмарин вокруг уважаемой памяти об отце. Хотя, действительно, как ранее говорилось, Пьер время от времени любил предлагать себе некие причудливые объяснения предпоследней тайны портрета, такие же далекие, как и туманные аргументации его матери; и все же аналитический интерес, присутствующий в его размышлениях, никогда произвольно не нарушал эту сакральную границу, где особенное отращивание его матери начало незаметно переходить к неоднозначным соображениям, затрагивая какие-то неведомые детали характера и молодости оригинала. Но тут он целиком запретил своему воображению располагаться в таких гипотетических областях; все эти грезы должны были взаимодействовать с той чистой, высокой идеей его отца, которая в его душе покоилась на общепризнанных фактах отцовской жизни.

V

В те моменты, когда мышление бродит вверх и вниз в безразмерных пространствах недолговечных догадок, любую конкретную форму или особенность можно заменить множеством форм, созданных из его собственных прежних непрерывно распадающихся созданий; и тогда мы могли бы здесь попытаться ухватить и определить наименее темные из тех причин, которые в рассматриваемом нами периоде юности наиболее часто занимали мысли Пьера всякий раз, когда он пытался понять особенное отращивание своей матери к портрету. Все же мы рискнем отразить это одним наброском.

Да, иногда смутно сознавал Пьер – кто знает, но кузен Ральф после всего произошедшего, возможно, был не столь далек от правды, когда предположил, что когда-то мой отец действительно взлелеял некое мимолетное чувство к красивой молодой француженке. И этот портрет, написан точно в это время и действительно с целью увековечить некоторые смутные доказательства этого факта через выражение лица оригинала: поэтому выражение его лица не близко по духу моей матери, не знакомо и в целом не приятно: не только из-за того, что лицо моего отца никогда не смотрело на нее так (так как это случилось после её первого знакомства с ним), но также из-за определенной женской черты характера, которую я мог бы, возможно,

в любой другой леди назвать благородной ревностью, утонченным тщеславием, позволяющим ей чувствовать этот взгляд лица на портрете, по некоторым признакам, адресованный не лично ей, а некому другому и неизвестному объекту; и поэтому она не терпит его, и это отражается на ней: ведь она должна быть естественно нетерпимой к любому оценочному воспоминанию о моем отце, которое не совпадает с ее собственными воспоминаниями.

Примем во внимание, что больший и более развернутый портрет в большой гостиной был написан в начале жизни, во время лучших и самых благоухающих дней их брачного союза, при конкретном желании моей матери и знаменитым художником, собственноручно ее выбранным и костюмировавшим оригинал по её собственному вкусу, и со всех точек обсужден знающими людьми, удостоверившими особенно удачное сходство с тем периодом; вера духовно укреплена моими собственными тусклыми инфантильными воспоминаниями; согласно всем этим признакам этот портрет в гостиной обладает для неё неоценимым очарованием: в нем она действительно видит своего мужа таким, каким он действительно явился перед ней; она не глядит рассеянным взглядом на незнакомый фантом, вызывающий из далеких, а для неё почти невероятных дней жизни моего отца-холостяка. Но в том, другом портрете она видит пересказ для ее любящих глаз, последние рассказы и легенды о его преданной супружеской любви. Да, теперь я думаю, что отчетливо вижу: так оно и должно быть. И все же, неизменно новые причудливые образы воспаряют во мне, как только я смотрю на странный сидячий портрет, который – хотя он намного более незнаком мне, нежели, возможно, моей матери – иногда, как кажется, говорит – Пьер, не верь портрету в гостиной; это не твой отец, или, по крайней мере, не совсем твой отец. Взвесь в своем уме, Пьер, можем ли мы оставить только одну из двух картин. Верные жены постоянно привязаны к определенному воображаемому изображению своих мужей; и верные вдовы всегда очень почтительны к определенному предполагаемому призраку того же самого предполагаемого изображения, Пьер. Посмотри снова, я – твой отец, так как он более реален. В зрелой жизни, мир ограничивает и лакирует нас, Пьер; вступают в дело тысячи правил приличия, изысканных тонкостей и гримас, Пьер; тогда мы, на самом деле, отказываемся от самих себя и берем себе другого себя, Пьер; в юности мы существуем, Пьер, но с возрастом мы кажемся. Снова взгляни. Я – твой настоящий отец, более реальный, поскольку не распознан тобой, как ты знаешь, Пьер. У самих отцов нет такой привычки – полностью открываться перед своими маленькими детьми, Пьер. Есть тысяча и один лишний грешок юности, которые мы не разрешаем обнародовать, Пьер. Погляди на эту странную, неоднозначную улыбку, Пьер; по внимательней изучи этот рот. Ты не считаешь, что он слишком страстный, и что, на самом деле, в этих глазах необузданный свет, Пьер? Я – твой отец, мальчик. Была однажды некая, ох, но слишком прекрасная молодая француженка, Пьер. Юность горяча, и искушение сильно, Пьер; и в краткий миг свершаются важные бесповоротные поступки, Пьер; и Время несется, а свершенное не всегда уносится вниз его течением, но может быть выброшено на берегу, вдали, в новых, зеленых местах, Пьер. Посмотри снова. Твоей матери я совсем не нравлюсь? Посмотри. Не все ли ее спонтанные любовные ощущения всегда стремились увеличить, одухотворить и обожествить память о её муже, Пьер? Тогда, почему она бросает злобный взгляд на меня и никогда не говорит с тобой обо мне; и почему ты сам молчишь, стоя перед ней, Пьер? Посмотри. Есть ли здесь какая-то маленькая тайна? Немного внимания, Пьер. Не бойся, не бойся. У твоего отца теперь нет вопросов. Посмотри, разве я не улыбаюсь? – да, и улыбка неизменна; и так я постоянно улыбаюсь в течение многих долгих прошедших лет, Пьер. О, это – постоянная улыбка! Так я улыбался кузену Ральфу, и так же в комнате твоей дорогой старой Тети Доротеи, Пьер, и именно так я улыбаюсь здесь тебе, и даже в более поздней жизни твоего отца, когда его тело, возможно, было в беде, – в кабинете Тети Доротеи я все еще тайно улыбался, как и прежде; и именно так я улыбался бы на стене в самой глубокой темнице испанской инквизиции, Пьер; даже оставаясь в темной бездне, я продолжу улыбаться этой улыбкой, когда ни единой души не будет рядом. Посмотри: ведь улыбка это избранный экипаж для всех

намеков, Пьер. Когда мы обманываем, мы улыбаемся; когда мы прячем какую-либо милую выдумку, Пьер – тоже; всего лишь маленькое удовлетворение наших собственных маленьких сладких желаний, Пьер – затем посмотри на нас – уже появляется странная легкая улыбка. Когда-то давно была прекрасная молодая француженка, Пьер. Ты тщательно и аналитически, и психологически, и метафизически, изучил ее родню и окружение, и все эпизоды из её жизни, Пьер? О, это странная история, которую твоя дорогая старая Тетя Доротея однажды рассказала тебе, Пьер. Я знал тогда доверчивую старую душу, Пьер. Изучи, немного поисследуй – посмотри – там, кажется, есть маленькие трещины, там, Пьер – клинообразные, клинообразные. Кое-что постоянно вызывает интерес; не нам ли так постоянно любопытны пустяки, Пьер, и не из-за пустяков ли мы так интригуем и становимся коварными дипломатами, и трепещем нашими собственными умами, Пьер, и боимся с открытой равнины последовать по индейской тропе в темные чащи, Пьер; но хватит, умный понимает с полуслова.

Так вот иногда в мистической, внешней тишине долгих деревенских ночей беззвучный особняк бывает окружен толстым валом выпавшего в декабре снега или кольцом неподвижного белого лунного света в августе. Живя среди призраков давней истории, занятой только для него самого, сторожа свой собственный небольшой шкаф, стоя на страже перед мистическим шатром-картиной и постоянно наблюдая за значением необычным образом скрытых огней, что так загадочно перемещаются из стороны в сторону, Пьер иногда вставал перед ликом своего отца, подсознательно бросаясь открывать для всех эти невыразимые намеки, двусмысленности и неопределенные догадки, что, время от времени, точно так же плотно окружают людские души, как плотно в мягкой, нескончаемой метели снежинки облепляют людей. И так же часто, когда Пьер вырывался из этой мечтательности и транса, стремясь к осознанно предложенной и самостоятельно продуманной мысли, к нему возвращался элемент уверенности; и затем, через мгновение весь воздух очищался, ни единой снежинки не выпадало, и Пьер, браня самого себя за свое собственное потакание безумным страстям, обещал никогда снова не оказываться в полночь в мечтательности перед сидячим портретом своего отца. Но потокам этой мечтательности, кажется, никогда не суждено было оставить какой-нибудь сознательный осадок в его уме; они были так легки и так быстры, что уносили свои собственные отложения дальше и, казалось, оставляли все каналы для мыслей Пьера чистыми и сухими, как будто аллювиальный поток никогда не прокатывался там вообще.

И потому в его трезвых, взлелеянных воспоминаниях отцовское благословление пока оставалось нетронутым, и вся странность портрета всего лишь служила идее поделиться с ним прекрасным, легендарным романом, сущность которого была бы очень таинственна, если бы в другие времена не оказалась бы так тонка и так зловеща.

Но теперь..., сейчас!.. – в письме Изабель говорилось так; и быстрее первых лучей, идущих от солнца, Пьер увидел все предшествующие намеки, как будто наружу вылезли все тайны, вскрытые острым мечом, и двинулись всей толпой дальше, раздув фантомы бесконечного мрака. Теперь его самые далекие детские воспоминания – блуждающие мысли его отца – пустая рука пепельного цвета – странная история Тети Доротеи – мистические полуночные намеки самого портрета и, прежде всего, интуитивное отвращение его матери, всё, всё сокрушило его обоюдными свидетельствами.

И теперь из-за непреодолимой интуиции все, что в портрете представало для него необъяснимо таинственным, и все, необъяснимо знакомое в лице, чудесным образом совпало; веселость одного весьма гармонировала с мрачностью другого, но из-за некоторой невыразимой похожести они взаимно распознавали друг друга и, в самом деле, проникали друг в друга; и такое взаимопроникающее единение обозначило черты, включающие в себя нечто сверхъестественное.

Материальный мир, состоящий из плотных объектов, скользя, раздвинул во все стороны от пределы своего круга и поплыл в эфире видений; и, поднявшись на ноги, со сжатыми руками

и выпученными глазами на застывшем в воздухе лице, он изверг замечательные стихи Данте, описавшего две взаимно поглощенные формы в Аду:

«Ах! как ты изменился,
Барашек! Посмотри! не ты ли удвоился теперь
И стал вдвойне единым!»

Книга V

Опасения и приготовления

I

Было уже далеко за полночь, когда Пьер вернулся домой. Его душа разрывалась и вырывалась из тела, что при таком буйном темпераменте обычно присуще первой стадии какого-либо внезапного и огромного несчастья; но теперь уже он вернул себе слабое подобие самообладания благодаря спокойному дыханию ночного воздуха, взошедшей затем луны и последних показавшихся звезд, несущих в себе всю странную мелодию подчинения, которая, сначала растоптанная и презираемая, все же постепенно проникла внутрь сосудов его сердца и затем распространилась в пределах его собственного мира. Теперь, с высоты своего спокойствия он твердо и пристально смотрел на обугленный пейзаж внутри себя, подобно тому, как канадский лесоруб, вынужденный убежать от своих горящих лесов, возвращается назад, когда огонь угасает, и стойко следит за безразмерными полями горящих головешек, что светятся тут и там под широкой дымовой завесой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.